



В номере:

Жизненная мелодрама

Роман Артура ДОЛИ «Первый. Второй» — попытка прочесть прошлую романтическую юность через рутинную мелодраму сценарных исканий не очень взыскательного кино. «Казалось, еще чуть-чуть, и мир, вынесенный за скобки, будет исчислен мной, формула найдена, прекрасная в своей простоте». Кем был мятущийся герой? Кем стал? Яркие детали, волнующие события, чарующие образы — всё впустую. Почему в конце концов всякая жизнь обессмысливается? Творческое бессилие как свой «домашний» Апокалипсис. И есть ли — кроме всеобщей гибели — иной выход?

«Память — это стог, а в стогу — игла»

Каждый человек, каждый народ — в своем стогу и на своей игле памяти. Об этом стихи поэта Александра КАБАНОВА из Киева, который чутко ловит дух и воздух местного времени: «Послушай последнюю русскую речь в садах лицедейства,/ а что ещё можно поэту извлечь в ответ на злодейства». Память для Григория МАРКА — «лентопротяжный конвейер/ перед мысленным взором тащил галерею/ неопознанных судеб, их хитросплетений». Дмитрий АРТИС вспоминает «время юных ураганов». Стихи ушедшего от нас в этом сентябре поэта, переводчика, литературоведа Георгия КУБАТЬЯНА — о дорогих его сердцу местах: Армянское нагорье, Вахруши — и безвозвратных временах:

Книги, одноклассники, соседи.
Видео бы! Либо на кассете
голос услыхать, когда ты сед,
детства. Но тогда таких кассет
не было.

История из тайных архивов

«За два века в ведомстве российского просвещения сменилось без малого пятьдесят министров. Переполненный школьный класс. Мужской гимназии... Сколько их было в старые времена, сколько в новые — не так важно, если считать, что это одна история. Совершенно, надо сказать, малоизученная», — начинает свое исследование «Министр, который никому не нужен» академик РАО Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. И делает попытку создать некий обобщенный портрет: «В чем наблюдалось сходство и в чем различие? Чего они хотели, что делали? И что получалось? Кому это нужно? Какая от них польза? Какое это вообще имеет значение? Может быть, никакого. Но интересно...» И это действительно очень интересно.

Полоса отчуждения

Евгений АБДУЛЛАЕВ в эссе «Четвёртый сон Агафьи Тихоновны» горько констатирует: за последнее десятилетие «закрылись от безденежья несколько отличных журналов. Несколько замечательных премий. Несколько прекрасных литературных фестивалей. Но главное — перестала нормально функционировать область между литературой и обществом». Истончается связь с театром, кино, ТВ. Сокращается количество книжных магазинов. Книгоиздателей и литературных редакторов все меньше, и они стареют... Вывод жесткий: «Литература становится фабрикой самой себя. Сама себя производит, сама себя обслуживает, сама себя хоронит». Где выход и есть ли надежда?..

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.ком>

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Елена ЖИРНОВА

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

 Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaootpkr.ru тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брата в экземплярах журнала
 обращаться в типографию, указанную
 в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2021.
Подписано в печать 24.09.2021.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 9612. Цена свободная.

Мария АНУФРИЕВА

Сулейман АФЛАТУНИ

Муса АХМАДОВ

Ольга БАЛЛА

Дмитрий БИРМАН

Денис ГУЦКО

Иван ДЗЮБА

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид НАГИМ

Илья ОДЕГОВ

Кнут СКУЕНИЕКС

Сергей ФИЛАТОВ

Ренат ХАРИС

Вячеслав ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр КАБАНОВ. Память — это стог, а в стогу — игла. Стихи	3
Артур ДОЛЯ. Первый. Второй. Роман	10
Дмитрий АРТИС. В раю винтажном. Стихи	89
Тимерлан ТАДТАЕВ. Как я провёл лето. Рассказы и повесть.....	93
Ася УМАРОВА. Рассказы	129
Георгий КУБАТЬЯН. Обойди Армянское нагорье. Стихи	147
Каринэ ХОДИКЯН. Запах хлеба и смерти. Рассказ. С армянского.	
Перевод Татьяны Мартиросян	151
Александр ЯКУТСКИЙ. Панты. Рассказ	158
Елена ЕРМОЛОВИЧ. Два рассказа	165
Янина АХХ. Из цикла «Недоаморы»	176
Юлия ЕФРЕМЕНКОВА. Всё не то. Рассказы	184
Григорий МАРК. Глагол и ему наречённая вещь. Стихи	190

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Александр СЕЛИН. Зелёный клин. Рассказы	192
---	-----

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Равиль БУХАРАЕВ. Стезя. Стихи	206
Наталья ХАРЛАМПЬЕВА. Тюркский брат мой. Вспоминая Равиля Бухараева	209

АРХИВ

Мелитон КАЗИТЫ. Письма боли. История публикации романа, ставшего классикой осетинской литературы	214
--	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Из тайных архивов русской школы. История образования в портретах и документах	239
--	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Елена САФРОНОВА. Каждый читает свой литпроцесс	258
(А.Чанцев. «Ижицы на сюртуке из снов: книжная пятилетка»; О.Балла. «Пойманнй свет: смысловые практики в книгах и текстах начала столетия»)	

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Четвёртый сон Агафьи Тихоновны	265
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Поверх всего	268
----------------------------------	-----

SUMMARY	272
---------------	-----

Александр Кабанов

Память — это стог, а в стогу — игла

История одной улицы

Сгущалось новое, тревожное,
чужое время страшных дел,
я шёл к себе и ел морожнное —
на палочке, как в детстве ел.

Катилось солнце по наклонности
и с сединой на парике,
я вспоминал свои влюблённости —
и палочку сжимал в руке.

В провинциальной жизни киевской,
ещё не зная о вожде,
спешил — по малой, по владимирской,
а время — по большой нужде.

Уже сентябрь в садах столы пинал
и стулья в кабаках месил,
и в печень ранили столыпина,
а он — пощады не просил.

У братьев, у маковских в клинике,
он, умирая, видел сны,
в которых плакали дружинники,
отчизны верные сыны.

В которых — из могилы жмурился —
соломенный, огромный кот,
и очень скоро, эта улица —
его фамилию возьмёт.

Кабанов Александр Михайлович — украинский поэт, пишущий на русском языке. Родился в Херсоне в 1968 году. Окончил в 1992 году факультет журналистики Киевского Государственного Университета им. Т.Г.Шевченко. Главный редактор украинского журнала о современной культуре «ШО». Автор 14 книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике. Стихи переведены на украинский, английский, немецкий, сербский и др. языки. Лауреат «Русской премии», Международной Волошинской премии, специальной премии «Московский счёт», Международной литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого и др. Живет в Киеве.

Люблю тебя — смешную, дерзкую.
Гляди, смирив постельный зуд:
как в лавру киево-печерскую
столыпина в гробу везут.

И сквозь клаксон — копыта цокали,
когда бесшумно, над толпой —
рождалось облако из брокколи,
как взрыв с каёмкой голубой.

Плыл гроб, украшенный виньетками,
вдоль человеческих траншей —
на лошадях, покрытых сетками,
с султанами промеж ушей.

Прощай, министр, всё разрулится,
всех вытерпят черновики,
и будут жить со мной на улице —
нацисты и большевики,

разведчик с польским переводчиком,
в чужом шкафу — родной скелет,
в.чкалов — был советским лётчиком,
олесь гончар — большой поэт.

Теперь — вблизи, внутри, не издали,
я чту капитализма быт:
пускай — табличку скоммунизили —
п. а. столыпин — не забыт.

Его, совсем мертвецки пьяного,
я встретил, кажется, вчера:
он шёл по улице кабанова —
кудесника и гончара.

* * *

Кто засчитает трудодни певцу и алкашу,
и я, отдельно от родни, риторикой грешу:
какое счастье быть одним, советовать во тьму —
как жить, не напиваясь в дым, народу моему.

А мой народ — весов стрелец и на дуде игрец,
Он — подлинник, а не подлец, ну, не совсем подлец,
он верит в бога, в порнохаб, но это — мой народ,
он вечный раб, но этот раб — за родину умрёт.

Спят престарелые дома, и припекает май,
я, вместо вас, сошёл с ума и сел в пустой трамвай,
вокруг — сплошная красота и прочая страна,
и сквозь улыбку, изо рта — ещё течёт слюна.

Он раб, а я — его вассал, я вместе с ним раз пять —
то погибал, то воскресал, то отходил поссать,
бетховена девятый вал читал на весь вокзал,
то пуповину пришивал, то снова отрезал.

Я лучший в мире сумасброд, но вовсе не дурной,
пусть мой — раздвоенный народ — смеётся надо мной,
пусть он изведает труда, познает толк в вине,
и в час исхода, навсегда, забудет обо мне.

* * *

Её охраняют бобры на цепи, шакал и гиена,
она умоляет: любимый, не спи, охрана — отмена,
и новые ветви сплетаются в щит, где старая рана,
родная, не бояся, любимый не спит, отмена — охрана.

Послушай последнюю русскую речь в садах лицедейства,
а что ещё можно поэту извлечь в ответ на злодейства:
вот эти остатки живого ума в квадрате и ромбе,
родная, не сплю — надвигается тьма упоротых зомби.

Они победили себя на войне и в телеэкране,
они поимели себя при луне и в морге, и в бане,
обычные люди воды и огня, и жертвы заклятья:
не рвите на части, не ешьте меня, о сёстры и братья.

Когда лжесвидетели гонят пургу — нужна гигиена,
пускай предают и уходят к врагу — шакал и гиена,
пусть белки спасают чужие миры и сны пионеров,
а с нами всегда остаются бобры приличных размеров.

Ты — дерево жизни и правды моей — листва, древесина,
ты — суффикс, который важнее корней, приставка для сына,
когда я опять никогда не умру светло и нетленно,
я знаю, ты скажешь святому петру: охрана — отмена.

* * *

Я жил за лесом, прямо за посадкой:
крошилось небо, словно школьный мел,
и о любви мучительной и сладкой
мне блок — читал, а магомаев — пел.

Я посыпал онегина к татьяне,
пил солнцедар с героями труда,
и очень жаль, что инопланетяне
меня не похищали никогда.

Для службы и для опытов негоден,
и по национальности — дебил,
но заграничный громовержец один,
вернее — зевс меня благословил.

А чем ёщё заняться ахиллесу
в элладе леонида ильича:
писать стихи, ёшё — ходить по лесу
в кальсонах, без щита и без меча.

Спасти от комсомолки пионера,
встречая утро фабрики заря,
в обед — купить собаку для Гомера —
ротвейлера, бойца, поводыря.

Я сыт по горло от чужого горя,
оно — повсюду, пряник или кнут,
мне, до зарезу, не хватает моря —
с такою рифмой в вечность не возьмут.

Потомок мой, пусть время бьёт по нервам
и ты читаешь эту ерунду —
субботнимаем, ровно в двадцать первом
двутысячно-особенном году.

Я вижу — ты сидишь в лесопосадке,
на самом крае киевской руси,
все девушки на свете — кисло-сладки,
не веришь, у прабабушки спроси.

* * *

Как правильно: *вечеря* или *вечеря* —
не важно теперь, старина,
отныне, огромная эта потеря —
всегда обретенью равна.

Господь приглашает тебя на разлуку,
небесный цветёт абрикос,
коты и собаки — по левую руку,
по правую руку — Христос.

Пускай на краю золотого тумана
видна половина стола,
другая — во тьму воплощённая рана —
обитель древесного зла.

Господь приглашает на адскую муку —
не бойся, товарищ матрос:
семь брошенных женщин — по левую руку,
по правую руку — Христос.

О дальних глубинах мечтают вибратор,
сосиска, банан, огурец,
по левую руку — ночной авиатор,
по правую — сын и отец.

Цветёт абрикос, осыпаясь, как слива,
Господь остаётся один:
единственный практик теории взрыва,
всесильный поэт, господин.

И я постигаю святую науку,
как все пролетарии как:
бутылка и рюмка — по левую руку,
по правую — крепкий табак.

Бывает, о женщине вспомню случайно,
её лошадиной красе,
и всё же, дельфины — великая тайна,
но знают об этом не все.

* * *

Сделаю работу над ошибкой:
я и к этой женщине привык,
осторожно, как футляр со скрипкой —
занесу ошибку в черновик.

Это не блокнот с телячьей кожей,
с шелестом обрезанных страниц,
это — дом трёхкомнатный с прихожей,
почерневший от зверей и птиц.

Так заносят веру и проклятье,
на руках, и садят на кровать —
белую ошибку в красном платье —
чёрными губами целовать.

То вдохнёт, то выдохнет лагуна —
за просторным, арочным окном:
сны и мифы николая куна
грузят чьи-то слуги на паром.

Много их: худых, вспотевших, смуглых,
поражённых господом в правах,
в нимбах из аквариумов круглых —
на еврейско-русских головах.

Мы с тобою, как изъян с изъянкой —
ляжем в нашем доме при свече,
нам приснится пушкин с обезьянкой
на кристально-угольном плече,

лошадь проживальского в тумане
и переживальского в огне,
две монетки, две, прости, two money —
в старомодном, ветхом шушуне.

* * *

Степь да степь пошагово к нам пришла,
прискакала осень верхом на клёнах,
память — это стог, а в стогу — игла,
а в игле — внезапная смерть влюблённых.

Ей бы шить/колоть саван для врага
и в потьмах не спутать джинсу с вельветом,
если память — стог, значит все стога —
знают, что мы делали этим летом.

Этим летом делали мы детей,
был покос овса, васильков, люцерны,
и сошли с насекомых своих путей —
бронепоезд-жук, а за ним цистерны

жирных гусениц, бабочка утекла,
саранча взломала депозитарий,
нас с тобою проткнула одна игла,
нас с тобою собрали в один гербарий.

В эпицентре зла, посреди равнин,
комбикорм обменивая на силос,
мы детей рожали — один в один:
дофига читателей получилось.

* * *

Пусть будет революция, пускай умрут враги,
а ты — читай конфуция, не засирай мозги,
пусть на дворе — инфляция, горит родной сарай,
а ты — читай горация, мозги не засирай.

Опять цветёт акация, что скажете, княжна, —
скажу: нужна локация, логистика нужна,
жить в самом сердце киева и ездить в куршевель,
не слышать пульвердиева хтоническую дрель.

И возлежать на лоджии, укутавшись в халат,
взирать на мир, как борджа — на греческий салат,
где ливнем заштрихованный, вдруг пересох блюет,
и зимний свет шипованный — менять на летний свет.

Скрестить вдову невинную и винную лозу,
курить сигару длинную, покуда там, внизу:
в варшаву, через винницу, нашупывая путь:
кириллица — латиницу пытается нагнуть.

А ты — читай буколики и будь всегда готов,
покуда спят католики — любители котов,
и бедные, бесправные рассеивают мрак —
народы православные —любители собак.

Отседова до седова, о том, что мир жесток—
грохочет мироедова отбойный молоток,
ведущий ждёт ведомого, и в поисках врага —
последний сын дурдомова пускается в бега.

Под медленное ржание, при помохи рожна,
на наше содержание — я деньги взял, княжна,
ведь титульная нация разграбила казну,
зачем нужна акация в гражданскую войну.

Мелькают обмельчавшие, пустые господа,
а ранее кричавшие — уснули навсегда,
лежат слова напрасные в тени броневика,
теперь над ними красные, сплошные облака.

Артур Доля

Первый. Второй

Роман

Соавторы

Спал на новом месте. Приснись невеста на новом месте. Снились кошмары. Утро изгажено сном. Одно успокаивает — какая невеста? какой из меня жених? Будь жених, — сейчас бы пересматривал картины сна, пытаясь понять их смысл. В годы жениховства я был внимателен к подобной информации, к любой информации, — считал, что таким способом со мной заигрывают, не пытаясь особо разобраться, кто... какая-нибудь невеста... силы, олицетворяющие невесту... периодически изменяющие цвет, разрез, выражение глаз.

Нынче мне нечасто доводится спать на новом месте: перемещаясь в пространстве, постоянно держу в голове свой дом. Быть может, поэтому, смежая веки, в качестве развлечения я все-таки брякнул: Приснись, жених, невесте на новом месте, — и только потом, поняв, что сказал, поправился: — Приснись, невеста, жениху... да... приснись, невеста, на новом месте. — Вот и получил: по левую руку — представители красного креста, по правую — красного полумесяца, — две уходящие в бесконечность прямые. Меня прогоняли сквозь строй. — «Бум», — раздавалось слева. — «Ца-ца», — подпевали справа. — «Бум ца-ца, бум-ца-ца», — звучало со всех сторон. А я не попадал в тakt, бежал быстрее и все равно не успевал; как будто попасть в тakt — значило, спрятаться, стать в ряд, облачившись в белый халат, запеть «Бум, бум, бум», спастиесь. За белыми халатами стущался мрак. Кровавые всполохи озаряли горизонт. Куда тороплюсь, если там, впереди, я это твердо знал, меня ждет операционный стол?

— Кофе перепил. Откуда чистым снам взяться? — радостно крутит педали старенького велотренажера Раевский, под ним миролюбиво гудит аппарат. За окном яркий солнечный свет. Можно подумать, дорога идет под уклон, велосипедист плотного телосложения, с небольшим брюшком, легко летит по шоссе, оторвавшись от пелатона, без пяти минут чемпион. — Пока не найдем внятную историю, так и будут кошмары сниться.

Кофе мы пили вместе, до трех часов ночи. Искали внятную историю. Кошмары после этого, как понимаю, снились мне одному.

Доля Артур Анатольевич — поэт, прозаик, сценарист. Родился в 1962 году в Целинограде (Казахстан). Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Работал в журнале «Смена», в театре «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. Автор поэтических и прозаических книг. Живет и работает в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Ленинский проспект» (2012, № 12).

Журнальный вариант

— Лично мне ничего не снилось, спал как убитый, — подтверждает догадку Матвей. Нам можно работать в паре, понимаем друг друга без слов. — А что касается врачей — мы же не фильм ужасов собираемся снимать? — обесценивает ночной кошмар режиссер.

Вот и попробуй найти с ним внятную историю, разжалобить или напугать потенциального зрителя. Позавчера он отправил жену в Тамбов на две недели — та давно собиралась проводить маму — и выдернула меня из семьи: давай напишем сценарий. Я знаю, где взять деньги на съемку фильма.

Забавное предложение, если учитывать, что кинематограф придумал дьявол, притворившись братьями Люмьер; во всяком случае, я так считаю. И хотя не хожу к причастию, при виде золотых маковок церквей не осеняю лба крестом, но бесовские дела меня, как мирного обывателя, раздражают. Бог есть.

И я ответил: давай.

Со вчерашнего вечера у нас идет творческий процесс, мы успели отмести с дюжины вариантов.

— Не хочешь размяться? — Матвей слазит с тренажера. — Бодрит.

— Не-а... — от одной мысли, что сейчас надо будет крутить педали, становится физически плохо.

Раевский направляется в ванную. Пока он там фыркает под холодными струями, забираюсь на велотренажер, — все равно мыслей никаких. Может, взбодрит? Кручу педали легко, как чемпион. Становится плохо. В голове гудит, в глазах рябит, в ушах звенит. Старый маразматик, знал же, во что все это выльется. Так нет!..

Главный герой — велогонщик, — мелькает мысль. Победитель «Тур де Франс»... одного из этапов. Он отдает все силы борьбе и, первым пересекая финишную черту, умирает от остановки сердца, падает вместе с велосипедом замертво... нет, не так, впадает в кому. Его увозят в больницу: сирена, проблесковые маячки реанимобиля. Над ним колдуют эскулапы в белых халатах, — картинка из сериала «Врачи» или «Больница», — возвращают к жизни. В палату к чемпиону приходят две блондинки в бикини: по протоколу после каждого этапа победителей принято поздравлять. Вслед за ними вваливаются телевизионщики заснять для новостных лент поздравление блондинок. Сидя на больничной койке, победитель откупоривает пятилитровую бутылку шампанского, обливает им своих соперников, занявших второе и третье места; они пьют из горла.

Что дальше? Вставляем смешную историю.

Веселье нарастает, доктора пытаются прекратить вакханалию, однако изворотливые телевизионщики — чего не сделаешь ради красивого кадра? — или одна из блондинок обводят медперсонал вокруг пальца.

Придумать, как они это делают. Теперь любовная линия.

Во время вакханалии герой влюбляется в блондинку, ту, что перехитрила врачей, посвящает ей свою победу и принимает решение уйти из большого спорта. Они селятся в маленьком французском городке рядом с большим собором XIII века. У блондинки дочь от первого брака, девочка тяжело больна: у нее по шесть пальцев на каждой руке. Приемный отец делает все, чтобы ребенок не чувствовал себя ущербным: Ты не такая, как все, ты — особенная, — любит повторять он ей. Надо дополнить: первый брак блондинки распался из-за того, что биологический отец, увидев в роддоме шестипалую малышку, тут же их бросил. После чего девочка росла с комплексом вины. Но теперь все ужасы позади. Полная гармоничная семья с разнополыми папой и мамой помогает девочке расцвести, превратиться в красавицу...

Слишком много архаики, — думаю, опервшись на руль велотренажера, — слишком много. Разнополые родители могут вызвать нездоровые ассоциации: Семья, Родина, Бог, — возможны обвинения в нацизме. Не стоит забывать, что дело происходит во Франции.

Итак, Сен-Жирон или что-нибудь поменьше, — Баньер-де-Бигор. Победитель этапа на больничной койке, подле него велосипедист, занявший второе место, — как бережно он поправляет чемпиону постель, ласково заглядывает в глаза! Если мы внимательно просмотрим кадры финиша, то увидим, что до последних метров двое вырвавшихся вперед спортсменов мчали по трассе колесо в колесо, не уступая ни сантиметра, и только перед финишной лентой один из суперменов сбавил обороты, пропуская второго вперед. После того, как недавние соперники выпили пятилитровую бутылку шампанского, серебряный призер признается победителю в своих чувствах. Пьяная блондинка, осознав, что женский стриптиз здесь неуместен, поднимает с пола бюстгальтер и кофточку, которые она так красиво разбросала всего минуту назад, и, смахнув набежавшую слезинку, первой поздравляет влюбленных. Велогонщики решают создать семью, удочерив шестипалую дочку блондинки. Все тут же начинают куда-то звонить, кому-то что-то объяснять, договариваться. — Сейчас будет, — говорит один репортер, давая отбой. Появляется священник с Библией. Священнослужителя ставят в центре палаты, включают камеры. — Согласен ли ты взять себе в жены... — брак заключается на небесах.

Осторожно сползаю с велотренажера, усаживаюсь в кресло. Мне уже гораздо лучше, во всяком случае, в глазах перестало рябить.

А на следующем этапе их обоих переехал самосвал. Шмяк, шмяк, и все... даже не так, одно «шмяк» на двоих, — подчеркнуть тему любви. Какой-нибудь эмигрант из Казахстана по фамилии Свидригайло решил проскочить, пока на трассе никого, и только выехал с грунтовки на асфальт, как вдруг из-за поворота они... и еще мотоцикл сопровождения впридачу. Впрочем, полицейский отделался многочисленными переломами, в новостях его почти не упоминали. Зато всем запомнилась симпатичная блондинка с лихорадочным блеском глаз, — в тот день ее можно было видеть на любом канале, она говорила и говорила, прижимая к груди шестипалую сиротку.

В дверном проеме показался Раевский:

— Ну как, придумал что-нибудь?

— Нет.

— Идем завтракать. Яичницу с помидорами будешь? — не дожидаясь ответа, уходит на кухню.

Яичницу, так яичницу... Наверное, я поступаю подло: поднявшись, пинаю ногой велотренажер. Взбодрил, гад!

— Я тут что подумал, — доносится с кухни. — Идея с твоими докторами не так плоха.

— Отстой.

— И то верно, — легко, будто и не режиссер, соглашается Матвей; шумит в раковине вода, гремит посуда. Лет двадцать назад, заканчивая ВГИК, он сделал любопытную дипломную работу. Покатался с фильмом по фестивалям, взял премию «За лучшую мужскую роль второго плана», «За операторскую работу» и даже в Сербии «За лучшую режиссуру». Следующий фильм, а у него было множество планов: «У меня родилась гениальная идея!» — подразумевало «Гран-при». Я уже представлял его идущим по красной ковровой дорожке в обнимку с Умой Турман: Ушипни ее от моего имени. — За что там щипать? — На месте разберешься. — Но ушипнуть не случилось. И не то чтобы вокруг Раевского сложился заговор молчания и он оказался в пустыне. Нашлись люди, оценившие оригинальность его замысла: Бунюэль отдыхает, — говорили одни, или более сложно — цитируя Бодрийяра, адвайту, Святое писание, — выражали свои восторги другие. А спонсоры не нашлись. Через год фильм со сходной идеей сошел со стапелей Голливуда, подняв большую волну. Матвей беззлобно шутил: Гуляй на наши деньги, Тарантино! Женись! — В то время Раевский обивал пороги солидных учреждений, добиваясь финансирования нового проекта, и рефлексировать по поводу несостоявшихся побед было недосуг. Рефлексия пришла три года спустя,

Дмитрий Артис

В раю винтажном

* * *

Когда мы будем
чуть ближе к смерти,
ты в платье белом, а я — в трико,
второе детство на пару встретим
в одной больничке для стариков.

Пройдусь игриво матёрым волком,
а ты волчицей поднимешь хвост,
и, зарываясь в кровати колкой,
нашепчнем счастье друг другу в нос.

Что будет дальше в раю винтажном,
уже не важно, пока мы — врость.
Так много жизни кругом, что даже
не успеваешь любить всерьёз.

* * *

В моё пятнадцатое лето
цветы пожухли на обоях.
Я путал Тютчева и Фета,
считая скучными обоих.

О время юных ураганов...
Напялив тёплую пижаму,
спасал во сне от хулиганов
свою прекраснейшую даму.

Врезался рыцарем летучим
в толпу, исполненный напасти.
Какой там Фет-болезный-Тютчев,
когда в груди такие страсти.

Теперь же, сон к утру просея,
сторонник нового расклада:
мне Фет — почти что Одиссея,
а Тютчев — точно Илиада.

Дмитрий Артис (псевдоним; настоящее имя — Краснов-Немарский Дмитрий Юрьевич) — поэт, драматург, переводчик, литературный критик. Родился в 1973 году в г. Королёв Московской области. Окончил Российскую академию театрального искусства и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор четырех книг стихотворений, среди них «Мелкотемье» (СПб., 2019). Живет в Москве.

* * *

Два мальчика,
живущие во мне,
две личности —
порок и добродетель,
пересекаясь,
выглядят вполне
пристойно,
как воспитанные дети.

Хоть обойди
с фонариком сто раз,
детально изучи
под микроскопом,
едины будут в профиль
и в анфас
изгибы ртов, глаза,
носы и попы.

Со всех сторон
прелестные малыцы,
не то что отражения
друг друга,
скорее даже
братья-близнецы,
два мураша
от одного испуга.

Но стоит им
на время по кривой
разъехаться,
печали приумножив,
научит жизни
первый, а второй,
наоборот,
отучит от неё же.

Невыносимы оба
в эти дни,
и не пойму,
кто лечит, кто калечит...
Встречайтесь чаще,
мальчики мои,
когда вы вместе,
мне намного легче.

* * *

Когда тебя отравят «новичком»,
пройдись по Абрикосовой бочком,
потом на Виноградную сверни
и распластайся замертво в тени.

Позволь себе красиво умереть,
себяшками завешивая сеть:
на первой фотографии живой
шагаешь по дощатой мостовой,

и взгляда расцветающий миндаль
высвечивает сумрачную даль.
А здесь стоишь на фоне гаражей
предутреннего облака свежей.

На этом снимке думаешь слегка
о том, что жизнь даётся на века,
а здесь, напротив, малость удручен
предчувствием и выглядишь сычом.

А здесь уже немного не в себе,
и пена пузырится на губе,
и самоэпитафия на ум
приходит как потусторонний шум:

Я мог бы жить и радовать людей,
стихи писать о женщине своей,
ловить стрекоз и бабочек сачком,
когда бы не отравили
«новичком».

* * *

Целый день у тебя под балконом
простоял, как во льдах кипарис,
думал, выйдешь курить и поклоном
поприветствуешь мой героизм.

Колосилась крещенская стужа,
вдоль сугробов мела, семени.
Пусть я буду три раза простужен,
лишь бы ты заценила меня.

Не такой уж значительный подвиг,
просто делаю всё, что могу.
Притлюсуй: ананасы — на полдник,
а на ужин — мясное рагу;

если выйдешь, надев полуушубок,
сигаретку сминая в зубах,
будет ночью лирический Шуберт,
а с утра беспощаднейший Бах.

То ходил, то стоял неподвижно,
то скулил, как затравленный зверь,
только за день ты так и не вышла,
потому что не куришь теперь.

* * *

Нормальные люди не ездят в трамвае,
а просто гуляют весь вечер домой.
Ты слишком прекрасна, особенно в мае,
особенно если гуляешь со мной.

Пропитаны первой грозой тротуары,
и ветер стреножен у стен городских.
Нормальные люди разбились на пары,
и мы разобьёмся не хуже других.

Отчасти смешны и нелепы отчасти,
и всё же изящны на целую треть.
Держи меня крепче, поскольку от счастья
могу непонятно куда улететь.

Туда, где в трамваях сидят обормоты,
где мчатся безумцы верхом на метле,
а мы ведь нормальные — после работы
гуляем в обнимку по твёрдой земле.

* * *

Заходи ближе к вечеру,
поговорим,
если хочешь,
то выпьем по стопке.
В головах зашумит
фиолетовый дым
и пробьёт
черепные коробки.

Несмотря ни на что,
постараюсь найти
для беседы
приличную тему.
В одиночестве я
с девяти до пяти
задыхаюсь
и лезу на стену.

Заходи просто так,
не пиши, не звони,
в дверь не надо стучать —
там открыто.
Я на стол соберу
холостяцкой стряпни,
будешь разом
довольна и сыта.

Ты мечтала всю жизнь
о распутстве таком,
и, касаясь
рычащего крана,
заглядишься как быстро
парным молоком
до краев
наполняется ванна.

Где случается счастье,
там должен быть страх.
Пусть в груди
шевелится ужица,
я такую постель
расстелю в попыхах,
что одной будет
страшно ложиться.

С девяти до пяти
разбери по ребру,
даже нежность
взимая как подать.
Только ты уходи
от меня поутру,
потому что
мне надо работать.

Тамерлан Тадтаев

Как я провёл лето

Рассказы и повесть

Резня

Ветра и камни вечны. Мостовая
бесчувственна к восходам и заходам.
И не пьянят луна морозным мёдом
глубин души, где темень гробовая.

Федерико Гарсия Лорка

В парке было дело, я ждал там свою девушку, и если бы Аниса пришла вовремя, в три, как мы условились, то, может, ничего не случилось бы. Но девушки с первых же дней знакомства испытывают твое терпение. Они, как пожарные, принимаются тушить твои пламенные чувства, а после, измотав тебя всего, соглашаются выйти замуж. Но ты уже устал от этой чудовищной борьбы и ищешь чего-нибудь полегче на стороне, и, помня, как она заставляла тебя ждать на свиданиях, являясь домой поздно, а то и вовсе не возвращаясь. В половине четвертого я подумал, что ждать глупо и унижительно, и решил свалить из парка. Я двинул к выходу, но по дороге подумал, что, наверное, мы разминулись, и стал искать ее по всему парку. В пять, взбешенный, я стал называть про себя Анису Анусом и громко ржать над ее новой кличкой.

До нее я встречался с Аллой, рыженькой девушкой с потрясающей фигурой. Познакомились мы на стадионе, она бегала вокруг футбольного поля со стайкой хихикающих подружек, а я сидел на трибуне и высматривал себе девушку. Неделю я наблюдал за Аллой, потом, набравшись смелости, побежал рядом и, задыхаясь, выпалил заранее приготовленную фразу: ты мне очень нравишься, я просто от тебя в восторге, давай сходим в кино или в кафе посидим? Алла согласилась не сразу, где-то после тринадцатого круга она взглянула на меня и с улыбкой сказала: ты, я вижу, упрямый и так просто не отстанешь, проводи меня до магазина, а то подружки ушли, а одна я боюсь ходить по парку. Конечно, выдохнул я и свалился на подстриженную колючую траву поля. Алла оглянулась и не останавливаясь спросила: ты в порядке?

Тамерлан Тадтаев — осетинский русскоязычный писатель, публицист. Родился в 1966 году в Цхинвале. Участник грузино-осетинской войны. Награжден медалью «Защитник Отечества». Публиковался в журналах «Дружба народов», «Нева», «Сибирские огни». Автор нескольких сборников стихов и прозы, в том числе «Судный день» (2010), «Полиэтиленовый город» (2013), «Лиахва» (2015) и др. Лауреат «Русской премии» и премии журнала «Нева» (2008).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 5.

О да, крикнул я, всё просто супер, хотя про себя молил бога не дать мне склеить ласты после такого марафона. Мы начали встречаться с Аллой, посидели в кафе, сходили в кино на какой-то паршивый фильм, но после той безумной пробежки на стадионе здоровье мое стало ни к черту. Я думал, чепуха, скоро пройдет, но все оказалось гораздо серьезней, и я стал мотаться по врачам, пить лекарства. Мы расстались под сумасшедший запах цветущей липы, от которого слезились глаза, а подошвы kleились к мостовой из-за пади.

Por supuesto, fue conmovedor, ambos lloramos, pero para mí decidí nunca volver a correr detrás de una chica, incluso si ella era una super modelo. ¡La salud es más importante que el infierno! Sin embargo, el amor es más fuerte que cualquier voto¹.

Я уже окончательно решил покинуть парк, и в который раз поперся к выходу, и по дороге чуть не наступил на маленькую девочку на велосипеде. Я улыбнулся ребенку и хотел дать ей конфетку, но в кармане, кроме ножа, трехрублевой бумажки и кой-какой мелочи ничего не осталось. Шоколадные конфеты, которыми я собирался угостить Анус, я слопал сам. Папа малышки, громила Гижмаж, в прошлом боксер в тяжелом весе, сидел на лавочке с Асако и о чем-то с ним спорил. Я поздоровался с ребятами и хотел пойти дальше, но кто-то окликнул меня:

— Эй, Бесо, куда это ты намылился, мать твою? Ну-ка, поди сюда, я тебя обниму!

Я оглянулся и увидел Тантула, недавно вернувшегося из мест не столь отдаленных. По правде говоря, он внушал мне ужас, ведь последний раз он мотал срок за убийство собутыльника, которого знали и почитали не только в нашем городе. Первой мыслью при виде этого душегуба было убежать как можно дальше, но моя проклятая кавказская гордость заставила растянуть губы в улыбке и сделать несколько шагов навстречу пьяному Тантулу. Мы обнялись, но я был начеку и не позволил бы себе пырнуть, да у меня самого в кармане нож с выкидным лезвием, еще посмотрим, кто кого заколет. Страхи мои однако оказались напрасными, Тантул похлопал меня по спине, потом отпустил и тоном, не допускающим возражений, велел сбегать в магазин за водкой. Я подумал, что дешево отделался, и уже было погнал за горячительным, но меня остановил возглас Асако:

— Если тебе нравится жить в Советском Союзе, то ради бога оставайся! Но объясни мне, Гижмаж, почему ты ходишь в адидашах? Не потому ли, что наши вместо одежды производят говно?

— Ты, я вижу, тоже против советской власти?

— Конечно, и никогда не скрывал этого. Свалю в Америку при первой же возможности!

— Так же говорил твой дед, пока его не посадили.

— Он был героем войны, но Сталин, о котором ты говоришь с придыханием, отправил его на Колыму.

— А знаешь, кто арестовывал этого шпиона?

— Значит, это все-таки правда, энкаведешное отродье!

Асако вскочил, длинный, худой, с большим горбатым носом, с недельной щетиной на щеках и лысеющей макушкой. Гижмаж смотрел на него с иронией, он знал, что похож на Марлона Брандо из фильма «Апокалипсис наших дней», и подражал ему точно так же, как все эти двойники Ленина и Сталина в Москве на Красной площади.

Тантул подмигнул мне: дескать, готовься, надо будет разнять ребят. Я посмотрел в сторону магазина: а водка? Это все потом, кивнул бандит и полез в карман за сигаретами. Я тоже решил пока не стревать, ну их на фиг, пусть сами разбираются.

¹ Конечно, это было трогательно, мы оба плакали, но про себя я решил никогда больше не бегать за девушкой, будь она даже супермоделью. Здоровье важней, черт подери! Впрочем, любовь сильней любого зарока (*испан.*).

Асако между тем совсем разошелся, он прямо осатанел и орал:

— Мой прадед и его братья были абреки, бунтари, на вас кровь моего деда, и ты, мать твою, сейчас заплатишь за это!

Вытаращенные безумные глаза Асако остановились на дочке Гижмажа, он подскочил к ней, схватил велик за раму, размахнулся — малышка с ревом отлетела куда-то назад. А Асако в ярости принялся колотить велосипедом по голове боксера, словно хотел вбить его в землю. Я отошел за орешник, и меня вырвало. Вернувшись, я увидел Асако, опирающегося окровавленной рукой на ствол дерева, другой он зажимал рану в животе. Тантул сидел на земле с торчащей спицей в груди, рядом валялся нож с темной рукояткой. Сам Гижмаж лежал ничком около лавки, а вокруг его головы образовалось большое красное пятно. Над ним стояла его маленькая дочь с погнутым колесом велосипеда и плакала.

— Бесо, успокой девочку, — сказал Тантул слабым голосом.

— Но как? — развел я руками. — Для этого как минимум нужна кукла.

— У меня в кармане конфеты, возьми и отдай ей.

Я было шагнул к Танттулу, но Асако предостерег:

— Не приближайся к нему, он тебя поджидает с пером, сука.

И вправду, ножа на прежнем месте не оказалось, должно быть, убийца спрятал его и подготовил для удара.

— Асако, прости, — сказал Тантул. — Матерью своей клянусь, я сам не понял, как всадил в тебя финку.

Асако вырвало кровью, он прислонился спиной к дереву и, зажимая живот обеими руками, словно в подоле у него была куча грецких орехов и он боялся рассыпать их, произнес:

— Ну да, бил и бил меня ножом, пока я не вогнал в твое поганое сердце спицу.

— Это было неожиданно, — признал Тантул и, взявшись пальцами за жало, уже собирался выдернуть из груди, но Асако предостерег:

— Не делай этого, сдохнешь сразу же.

— Не хочу умирать, лучше в тюрьму, Гижмажа я тоже возьму на себя. Эй, Бесо, ты еще не вызвал «скорую»?

— Хер тебе, подыхай! Асако, давай я помогу тебе дойти до выхода. Хоть тебя спасу.

— Нет, я умираю. Лучше уведи девчонку отсюда...

Как назло, поблизости не было людей, я схватил ребенка и побежал к выходу. Народ уже валил к месту резни, я кинулся в магазин и попросил продавщицу присмотреть за девочкой...

С тех пор прошло лет тридцать, я живу в Барселоне, у меня свой бизнес по всему миру. Пандемия застала меня на моей яхте «Асако», и я решил написать историю названия.

Джокер

Письмо от Бесы я решил почтить на посту номер два, то есть на вышке. В Нагорном Карабахе уже начались боевые действия, в самом Тбилиси тоже было неспокойно, и потому бойцы нашей части ходили в наряд с оружием и боевыми патронами. Я забрался по скрипучим деревянным лестницам на вышку, вскрыл письмо и стал читать: «Таме, братишка, привет! Как ты там, как тебе служится? Надеюсь, у тебя все хорошо, я вот свое отмотал, уже месяц как дома, а тебе еще год тянуть солдатскую лямку, ну да ничего, держись. Вчера я зашел к вам домой, и мама твоя накрыла на стол, угостила меня цади, слушай, она печет их божественно, я прямо объелся. Она еще лобио положила и, прикинь, я попросил добавки, а после целый день

Ася Умарова

Рассказы

Опалённые ностальгией

— Удивительно: трое пассажиров сзади успевают выйти из машины, а ты только лишь начинаешь привставать с сиденья, — Дени захлопывает дверь вишневой «Нивы».

— Тогда женись на более молодой. Будет тебе шустрее и активнее. Дверь только так будет захлопываться перед твоим носом. Даже на крышу машины залезет, если захочешь, да еще в придачу будет отбивать ногами ирландскую чечетку. А со мной разводись, — Милана в спешке пытается застегнуть молнию кожаной куртки, но из-за лишних килограммов, набранных в отпуске, сделать это оказывается проблематично. Она оставляет эту затею, а ее подруги, Зара и Лиана, дружно хихикают на заднем сиденье. Так обычно поступают, чтобы сгладить острые углы и придать супружеской ссоре налет шутки.

До женитьбы Дени был влюблена в однокурсницу Миланы, но та отшила его, сказав: «А кто ты вообще такой, чтобы тебя любить?» Он был студентом филологического факультета, подрабатывал редактором в литературном журнале и мог с легкостью поддержать беседу о слабости базаровского нигилизма, фамусовском обществе и рьяно болеть за иммерсию в прозе. После создания семьи он устроился делопроизводителем на скотобойне, где следил за документацией.

Их шестилетняя дочка Бэлла, увидев знакомую учительницу, чуть не выпрыгнула из автомобиля, соединив ладони и медленно опустив головку, протянула:

— Ме-е-ендвт.

Женщина, повторила в ответ жест и, улыбнувшись, прошла мимо.

— Что... что ты делаешь? — поправляя ободок на голове Милана. От нее еще пахнет химической завивкой, которую она сделала накануне.

— Кто?

— Ну вот ты сейчас...

— Мама, представляешь, она буддистка, — сказала девочка, надув из жвачки огромный пузырь, который смаочно лопнул.

Ася Умарова родилась в 1985 году в Калмыцкой АССР. Окончила Чеченский государственный университет в Грозном и Кавказский институт СМИ в Ереване. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Юность», «Звезда», «Нева» и др. Живет в Чеченской Республике.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

Учительница исчезла в глубине тутовой аллеи. Все лето тротуар здесь покрыт фиолетовыми пятнами растоптанных ягод, а ближе к осени тутовые деревья покрываются гусеницами и паутиной. Если задержаться под тутовниками, то одна гусеница обязательно свалится на голову.

— Ты знаешь, что это такое?

— Нет, но так говорила наша уборщица в школе.

— Вот и славно.

У калитки деревянного облезлого забора они долго не могли определиться, кто зайдет первым. Если судить по старшинству, то Лиана на три года старше Дени, и по обычаям нужно ее пропустить. Но Дени единственный мужчина. В конце концов, он подтолкнул дочку вперед. И все снова засмеялись.

— Мне постоянно снится, что началась война... — и тут Дени ударяется головой о свисающую арматуру у гаража. «Тэ-э-энк», — раздался глухой звук.

— Осторожно! — просит Милана и перепрыгивает яму.

— Во сне я пытаюсь закрыть дверь на замок, но с неба спускаются какие-то люди в белой одежде и быстро бегут к нашей двери, пытаясь ее приоткрыть, — он трясет руками, словно они и сейчас за ним гонятся. Женщины с опаской оглянулись по сторонам.

— Я давно говорила, что нашу дверь пора заменить. Она вот-вот отвалится.

— Но я не хочу этого делать, потому что меня пугает все происходящее...

— Удивительно, даже во сне проявляется твоя лень.

Милана в прошлом была коммунисткой и совершенно не поддерживала идей капитализма. Сейчас же она считает себя приверженцем социализма. А ее муж, скорее, верен чувствам. Поэтому они были очень разными. Единственный момент, где проявлялись ноты романтизма Миланы — так это одна-единственная книжка, которую она прочитала еще в швейном училище. Книга называлась «И кто постучится в дверь твою в ночи».

— Правда, красивое название? — уточняла она у знакомых. — В нем столько смысла и жизненной силы.

Дени пару раз порывался расстаться с женой, но вдруг неожиданно в беседе она произносила такие слова, как «крепдешиновый», «превенция» или «антитеза», и он передумывал.

— Они ломятся одновременно и в дверь, и в окно, а я боюсь прищемить им руки и ноги.

— Ну вы видели! Точно так же ему предлагали на швейной фабрике повышение, а он отказался от должности. Видите ли, боялся друга обидеть, который взял больничный, и непонятно было — вернется или нет. В итоге того спихнули и взяли совершенно другого человека. А о нас подумать?!

— Я так устал, пытаясь закрыть эту дверь...

— Подожди, Дени, — Лиана срывает шпанку и тут же кривится от кислоты, ударившей в язык. — Я не поняла, а при чем тут все-таки война?

На одной из газет, настеленных поверх асфальта, чтобы не испачкать его побелкой и краской, они увидели фото танцора Махмуда Эсамбаева. И тут же вспомнили, как два года назад тот танцевал в Калмыкии в составе чечено-ингушской филармонии. Милана и Дени вместе с дочкой отправились тогда с букетом белых пионов, завернутым в газету. Бэлла не дождавшись окончания концерта, отдала цветы одной певице, хотя цветы предназначались Эсамбаеву, а он выступал в самом конце. И вот, наконец, в зале стемнело, замигала цветомузыка и яркие лучи осветили центр

сцены. Махмуд в ярком костюме и разноцветных перьях, с разукрашенным телом и лицом исполнял энергичный танец индейцев «Макумба». Он громко протяжно кричал и мотал головой. Когда зазвучали аплодисменты, женщина, сидевшая рядом, попросила Бэллу передать ее букет из таких же белых пионов именно Эсамбаеву. Девочка с неохотой взяла цветы, медленно поднялась по ступенькам на сцену и взглянула на танцора. Вблизи он показался ей еще страшнее. Он улыбнулся и протянул руку, чтобы забрать букет, но Бэлла закричала и забегала по сцене. Он сделал еще две попытки, чтобы забрать цветы, но она снова убегала от него. В зале смеялись и громко аплодировали. Наконец, она отдала эти пионы простому музыканту, который простоял весь танцевальный номер за кулисами. Он застенчиво улыбнулся и поблагодарил Бэллу. Она вернулась к родителям, крепко их обняла и долго не отпускала. После окончания концерта они вышли во двор, и незнакомые зрители подходили к ним. Неожиданно для Бэллы она стала «той самой девочкой», которая испугалась танца «Макумба». Родители так радовались этой «славе».

Услышав рев мотора, все встали на цыпочки и посмотрели через забор. Из черной «Волги» вышел их друг — Зелим. Им показалось, что перед тем, как войти в дом, он много раз подумал — стоит ли. Вообще, все его звали «Вестник смерти». Правда. Из-за отсутствия телефонов, Зелим сообщал о смерти родных родственникам в дальних селах. Как почтальон, только с голосовой весточкой. Некоторые заливали бензин в знак благодарности, но чаще он сообщал бесплатно. Наверное, он мог бы написать целую книгу о первой реакции людей на смерть близких. Но для него это в какой-то момент стало рутиной. И только однажды Зелим удивился реакции одной девочки на смерть ее папы. Она шла с пакетом продуктов, и, когда Зелим сказал ей о кончине отца, девочка села на землю, достала вафельный стаканчик бананового мороженого и стала его облизывать. И пока она не съела три мороженых и не запила их лимонадом «Дюшес», так и не встала. Все это время она смотрела в одну точку. И каждый раз, когда в селах видели черную «Волгу», ничего хорошего не ожидали. Его боялись и взрослые, и дети. Когда он первый раз приехал на свидание к будущей жене Лиане, то люди ждали, что он заедет в какой-то двор и сообщит кому-то о смерти, а узнав причину его частых визитов, удивлялись. Это как, например, узнать, что у Бэтмена есть мама, и она стирает его вещи порошком «Тайд» или хозяйственным мылом, а может, готовит по утрам для него гречневую кашу, тушеную в молоке. Ну а как? Даже у Вестника смерти должна быть личная жизнь.

— Если бы я знала, что он сюда приедет, ни за что бы не согласилась выйти из дома, — сказала Лиана подругам и бросила горсть шпанки в сторону ирисов, руки, испачканные соком ягод, вытерла о черный трикотажный халат. Заметив отсутствие поддержки, она еще больше рассердилась. — Мне что, притворяться, будто ничего не происходит?

Лиана отличалась тем, что при знакомстве всегда спрашивала:

— А чего ты боялся в детстве?

Никто не понимал, зачем ей нужно это знать. А все из-за странной девочки с романтическим именем Джульетта из детства Лианы, которая ночью шепотом рассказывала своим подружкам историю: «И тогда она в полночь пошла на кладбище... босиком... Вороны летали над ней, каркали... она зацепилась платьем за кустик... Отдай мое сердце!!!» Джульетта хватала кого-то из девочек и громко смеялась. Лиана догадывалась, что именно Джульетта собиралась сделать, но все равно подпрыгивала от неожиданности. Может, с тех пор и заинтересовалась страхами. Но люди предпочитали отмалчиваться, не желая возвращаться в прошлое.

Георгий Кубатъян

Обойди Армянское нагорье

Берег Евфрата

Посреди армянского пейзажа,
посреди Армянского нагорья
медленный Евфрат.
Глаз не колют пепел, кровь и сажа.
Ни тебе картин людского горя,
ни геенинских врат.

Всё минуло. Тополиным пухом
притрусило, яблоневым цветом
 занесло, и, зол,
кто-то врёт: армян в пустыню пёхом
гнали подыхать палящим летом
из сожжённых сёл.

Врут, конечно. Не было такого.
Мы ж не звери, резать без оглядки
сотни тысяч душ.
Уйма лет. Продумано толково.
И никто, что взятки-де не гладки,
доказать не дюж.

Стало быть, играем в прятки-жмурки.
Быль, её запамятуют вскоре,
воздух так духмян!
Здесь от века жили курды, турки.
Обойди Армянское нагорье —
не сыскать армян.

Кубатъян Георгий Иосифович (1946—2021) — армянский и российский поэт и переводчик. Родился в Уфе, жил в Ереване. В 1968 году окончил университет в г. Горьком. Печатается с 1968 года. Работал (1970—1974) в журнале «Литературная Армения», позже — в музее М. Сарьянна. Перевел на русский язык произведения армянских писателей, среди них О. Туманян, В. Терьян, Д. Варужан, О. Шираз и другие.

Может статься, забрались повыше
или же попрятались в овраге,
где спасует враг.
Вы опять за старое? Но вы же
здравомыслы. Пресекайте враки.
Хватит ваших врак!

Нет как нет особого пейзажа
у страны, да и примет особых
не построишь в ряд.
Ну а зелень мягкая, как замша...
Ну а тот в кругу цветов подсолнух...
Наконец, Евфрат...

Самоирония

Немного насмешки. Над кем? Над собой,
собой ненаглядным. Над кем же ешё-то?
А поводов столько — собьёшься со счёта
и горестно хмыкнешь: компьютерный сбой.

И давешний Савл, надо думать, и в ус
не дул, над собою трунивший апостол,
и мысливший притчами, знавший их вдосталь,
учитель апостольский Христ Иисус.

Смешон ли хлебнувший цикуты Сократ,
с усмешкой глупцов не оспорив устало?
Любой, кто взирает окрест с пьедестала,
смешней во сто крат.

Baxruii

1

Между рам оконных сохнет цедра
для настойки. Почитал и спать.
Десять километров до райцентра
и до областного двадцать пять.

Вятка там и там. А вот в посёлке
ни речушки. За подлеском пруд.
Берег — сплошь подзол. А на подзолке
средь болотца кулики орут.

Кожзавод у тракта. Обувная
фабрика. С библиотекой клуб,
где нашёл ты, прочих не шпыняя,
всех, кто был тебе в ту пору люб.

Ну и школа. Всё же за шесть классов
ты, не всех охальней и скромней,
курточку свою перепоясав,
пусть азам, ан выучился в ней.

Книги, одноклассники, соседи.
Видео бы! Либо на кассете
голос услыхать, когда ты сед,
детства. Но тогда таких кассет
не было.

2

С его компанией случайной,
с бурдой дешёвой, разливной,
шалман у тракта звался чайной,
а не буфетом, не пивной,

не рюмочной. Какие рюмки!
Приятель, чушь не городи!
Натруженные эти руки
раздавят их того гляди.

Тут сроду не давали чаю,
без чая было горячо.
«Я камбалу не отличаю
от скумбрии». — «И чо?» — «Ничо».

Тут наливали стаканами.
Иной мужик, бывало, за
минут пятнадцать, между нами,
аж всклянь зальёт себе глаза.

Другой рассказывал, как в Кушке
служил. «Ну, там жарища, да...»
Но выпить менее чекушки —
зачем и заходит тогда?

В халупе рядом были тонки
подобья стен. Сродни кротам
снимали ссыльные эстонки,
мать с дочкой, комнатушку там.

Туда-сюда не мельтешили,
но, мастерицы в ремесле
портняжном, шили, шили, шили,
точь-в-точь модистки в ателье.

Заправят нитки из корзинки,
и чуть дерябнувший, хоть вой, —
что пулемёт, строчил их «Зингер»,
почти как на передовой.

3

Прах, и прах, и прах.

Маленький посёлок,
подполы в засолах,
куры на дворах.

Пять ли, шесть ли улиц,
может статься, семь.
Как вы разминулись,
обращаясь в темь!

Для тебя посёлок
мрак, ты — для него.
Полтора по сорок —
сколько ж итого?

Канувшие в Лете
шесть десятилетий —
потогонный кросс.
А ведь ты здесь рос.

Из пятидесятих
всё ещё свербит
резь твоих досадок,
боль твоих обид.

Временная пропасть,
как в скале проём.
Кировская область,
Слободской район.

Проза

Каринэ Ходикян

Запах хлеба и смерти

Рассказ

С армянского. Перевод Татьяны Мартirosyan

То, что его семья не такая, как все, он впервые почувствовал, когда ему не было и пяти лет. Но чтобы понять это, должно было пройти время. Ему исполнилось двенадцать, когда отец, не глядя на него, необычным (потом он поймет — виноватым) голосом то ли сказал, то ли спросил:

— Пойдешь со мной...

Но до этого дня было еще далеко, и пятилетний Авет, ощущив однажды, что его семья помечена клеймом, отчуждающим от всех остальных, узнал чувство одиночества, поселившееся в нем навсегда. Нет, в то время он еще и слова такого не знал...

Это случилось на перемене. Он предложил голубоглазой Манэ кусок испеченного матерью пирога, бережно, чтобы не раскрошился, завернутый в бумагу. Но та, удивленно приподняв брови, молча отказалась. А когда он захотел узнать, почему, сидевший рядом с Манэ Вардан хмыкнул:

— Разве ж из ваших рук можно есть?

Именно тогда, прочитав в учебнике слово «клеймо», он вспомнил себя пятилетнего и свой плач. Много лет он пытался, но так и не смог воскресить в памяти, чем был вызван тот детский плач: словом, или каким-то поступком соседа, или взгляд случайного прохожего дал понять, что его семья не такая, как все... Его сердце чуть не разорвалось от переполнившего плача без слез. По наитию — ибо откуда у пятилетнего знание? — он схватил чугунную лопатку, которой мать отбивала мясо, и изо всех сил ударил себя по левой руке. Мать бросилась к нему и, отшвырнув лопатку с такой силой, что та застряла в кустах в дальнем углу сада и ее потом так и не нашли, стала прикладывать холодную примочку к раздувшейся, как корзинка подсолнуха, детской ручонке, не понимая причины этого самоистязания. А Авет, наконец открывший дорогу слезам, будто увидев со стороны, как от их соли саднит его рана, не осознавал, что плачет в последний раз. С этого дня у него и появилась привычка смотреть на все со стороны.

Каринэ Ходикян — драматург, сценарист, прозаик и журналист. Работала редактором отдела прозы и поэзии в журнале «Гарун», главным редактором «Литературной газеты». Пьесы ставились в Армении, США, России и Украине. Автор двух книг пьес и книги рассказов «Улица мёртвой любви» (2001).

Татьяна Мартirosyan — писатель и переводчик. Автор романа «Закон маятника». Переводила прозу Варужана Восканяна, Грачья Сарифекяна, Давида Мурадяна, Владимира Айрапетяна и других.

* * *

Отец остановился на пороге, взглянул на двенадцатилетнего Авета и вспомнил себя, хотя нет, ему было меньше, едва исполнилось одиннадцать, когда отец остановился на пороге и взглянул на него... Он подавил застывший внутри всполох: не надо вспоминать прошлое, не следует сейчас пасовать под взглядом сына, и рука его не должна дрожать, когда он вложит лопату в детскую руку и скажет:

— Копай...

И сын возьмет лопату и снимет первый слой земли с намеченного прямоугольника, отправится запахом свежевырытой могилы и, как и он сам, уже никогда от него не избавится.

* * *

Авет шел за отцом след в след. Недавно прошел дождь, и мокрая трава с наслаждением вбирала в себя отпечатки отцовских грубых башмаков. Авету нравилось ступать по этим неуклюzym следам. Так было легче переносить кладбищенскую тишину; глянул со стороны — это будто бы вовсе не он, будто бы его нет, а только отец и его следы. Подошли к отгороженному веревкой прямоугольнику. Отец прислонил к ближнему дереву две лопаты и кирку и, опустившись на колени, потрогал почву, потом сунул руку глубже. «Что это он ищет?» — подумал мальчик.

— Здесь нечего искать... — казалось, отец сказал это самому себе, но мальчик понял, что в этой тишине ему надо стараться не думать, — здесь отец читает его мысли.

— Ты продолжишь наше дело, — сказал отец, не отнимая руки от земли, и слова его прозвучали приказом.

— Это обязательно? — спросил мальчик и сам удивился своему вопросу, — ведь ответ он знал со дня рождения.

— Сила земли, вбирающей в себя смерть... — отец умолк, еще раз прокрутил слова в голове и заключил: — Вот в чем тайна нашего рода, — и, не дожидаясь ответа, засучил рукава. — Сначала я буду копать, потом — ты. — Он не уточнил, когда будет это «потом», просто вонзил лопату в землю.

Авет наблюдал за отцом — ни одного лишнего движения. «Словно робот», — подумал он и со страхом взглянул на отца. Отец не отреагировал, — значит, когда он копает, он не может читать мысли. Или не хочет...

День был ненастный, хмурый, мальчик съежился, чтобы скрыть дрожь. Увидел, что рубашка отца промокла от пота под мышками и на спине. Понял: это самое «потом» настало, и бочком пошел к лопате. Древко лопаты было таким гладким, что он почувствовал приступ тошноты: сколько ям было ею вырыто! В горле застрял комок, Авет знал: либо он возьмет в руки эту лопату и станет продолжателем семейного дела, либо не подойдет к отгороженному прямоугольнику, источающему прелый запах увядших цветов, отступит в сторону и вместе с истогнувшимися изнутри горечью и желчью навсегда избавится от клейма. Он не видел, но знал, что отец с застывшей в воздухе рукой ожидает его решения. Авет взял лопату, подошел, и отцовская лопата, будто и не было этой паузы, опустилась и захватила порядочный ком земли.

Они выбрались из вырытой ямы, присели на замшелую надгробную плиту. Отец достал из рюкзака бутылку водки, два куска черного хлеба, два стакана, в один налил на палец, другой наполнил до краев и сказал:

— Сегодня выпьешь. А потом уж — как захочешь, — он сделал большой глоток, отвел глаза, чтобы не видеть, как неумело сын подносит ко рту стакан, а глотнув, старается не выпустить наружу клокочущую внутри горечью и желчью водку. Подождал, пока Авет, задержав дыхание, проглотит все это, и улыбнулся:

— Ты стал помощником.

Кривая, виноватая улыбка отца навсегда останется в его памяти.

Александр Якутский

Панты

Рассказ

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит...

O. Мандельштам

Никто и никогда не любовался тундрой со спины. С самого рождения лежит она, подставив солнцу плоский живот и две сопки-грудки, по-девичьи востренькие. А когда солнце вслед за гусями отправляется на зимовку, тундра натягивает на себя одеяло тучного пуха и цепнеет в беспамятстве.

Одноглазое престарелое небо склоняется над ней все ниже и ниже, близоруко щурится бельмоватым зрачком, пытливо взглядывает в каждую пядь, дыша все чаще, порывистей и похотливей. От этого дыхания пух взмётывается вверх, обнажая тундровую заледенелую плоть, и долго потом носится в воздухе, не умея вновь собраться в тучу и податься вслед за гусями и солнцем. Тундра протяжно стонет во сне. Небо отшатывается, залившись нездорово-кислотным потрескивающим румянцем. Пух укладывается обратно, оставив в одеяле небольшую прореху у левой тундровой груди. В прорехе виднеется родинка: там Шеболда. Но об этом как-нибудь потом. Эта история обойдется и без Шеболды.

Эта история начнется, когда солнце вернется домой. Как всегда, опасаясь засады, сначала оно будет украдкой подглядывать из-за окна. Кинет беглый взгляд, звякнет несмелым лучиком по соску правой тундровой груди и тут же скроется вновь, затаив дыхание. Потом — еще, и еще один вороватый взгляд. Будто делает приседания, с каждым разом поднимаясь все выше и выше. И вот, наконец, показалось полностью и осматривается вокруг совсем по-хозяйски.

И то, что солнце видит на этот раз, ему не нравится. Откуда-то с юга (из самых, что ли, фараоновых земель?) взобрались по тундровому плечу на белоснежное одеяло, взобрались и ползут скарабеи, числом до двадцати. И скарабеи эти — неправильные. Дурнопахнущие сокровища при них, но не толкают их впереди себя, а волоком

Александр Якутский — программист, слушатель Литературной Мастерской Аствацатурова и Орехова. Родился в 1971 году. Рассказы печатались в журналах «Этажи», «День и ночь», входили в состав коллективных сборников. Автор книги рассказов «Зовите меня Измаил» (2020). Живет в Санкт-Петербурге и Юго-Восточной Азии. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

волокут, иногда всхрапывая и чуть привставая на дыбы. Сволокли в одну кучу, прямо в ложбину меж тундровых грудей, поворчали немного, отдохнули и налегке поползли обратно. Трое, впрочем, остались. Стало быть, охранники.

Солнце раздраженно ходит из угла в угол, все сильнее и сильнее накаляясь от едва скрытого гнева. Тундре становится жарко под одеялом. Вот и первая капелька пота потекла по ложбинке, почти по подножию правой груди. За первой капелькой — вторая и сотая, сплошной уже поток, забурлил-заголосил Карбычах, и от его щекотного бега тундра наконец-то проснулась, вмиг сбросила ненужное больше одеяло и вся распахнулась ароматным своим телом солнцу навстречу.

Гигантская пузатая стрекоза плюхнулась рядом со скарабеевым богатством, вытолкнула из чрева с десяток людей, четыре собаки и кучу скарба. Улетела восвояси, чтобы вернуться еще четырежды, каждый раз привозя то новых людей, то бесконечные баулы-ящики. Люди оседлали скарабеев-охранников и растащили все привезенное по сторонам, превратив левый берег Карбычаха в слякотно-грязное пятно, усеянное кирпичиками балков — домиков на салазках.

Еще один раз, последний, прилетела стрекоза, оставив, помимо всего прочего, пару людей по фамилии Мандауровы. А еще их собаку, черную свирепую овчарку Мухтара, словно награжденную летним отпуском с места постоянной работы в остроге. Да и хозяйка — неопрятная худая баба с редкими сальными рыжими волосами из-под застиранной косынки — взгляд имела недобрый, Мухтару под стать. Муж ее, вида вполне робкого, часто поглядывал на жену, а потом каждый раз стрелял исподлобья во встречающих взглядом то ли заискивающим, то ли упрашивающим.

«Дрянь, а не люди», — тут же согласно порешили обитатели лагеря, но вслух ничего не сказали, потому что Мандаурова призвана была служить нам всем поварихой.

— Ты, Школьяр, никогда не моги кусать жопу кормящей тебя руки, — сказал Тунгус, наслоняяливая самокрутку на сон грядущий. — И смеяться над ней не моги. Хоть смешнее и глупее ее нет на всем белом свете. Не моги... Не в глаза, во всяком случае.

И не смеялись, а безропотно выполнили первое же ее указание — перетащить мандауровский семейный балок на правый берег Карбычаха. За ним тут же последовал и общий кухонно-столовый балок. Так что ходить в столовку стало нужно через мостик, вполне, впрочем, добротный. Но лагерь отныне разделился надвое. И не только Карбычахом.

Мухтару возвели громадную будку из прихваченного с далекой базы материала. Сразу было видно, что Мандауровым не впервые так обустраиваться. На время завтрака, обеда и ужина Мухтара сажали на цепь, с которой он рвался, роняя пену с губ на каждого, переходящего мостик.

— Хозяева, угомоните своего демона, будь он неладен, — ворчали геологи и работяги, торопливо перебегая мостик и поскорее ныркая в столовку.

— А чем он тебе помешал? — невозмутимо отвечала Мандаурова, облаченная в замызганный халат, перевязанный грязной бесцветной бечевкой.

— А ну как сорвется? За мостик к нам припрется, порвет кого ни то?

Впрочем, все знали, что такого никогда не случится: Мухтар на левый берег никогда не придет. Хоть колбасой его помани. Когда его спускали с цепи во внеобеденное время, он подходил к мостику, брезгливо нюхал его и тут же, брезгливо же рыча, убирался обратно, в свою будку. На левом берегу безраздельно властвовал Примус — огромный маламут с бирюзово-безумными глазами. На вид в Примусе не было той свирепости, что так и брызгала из Мухтара, но любой мало-мальски сообразительный

Елена Ермолович

Два рассказа

Kom

Дом стоял на сутулом горбу крутого спуска, и к самым дальним подъездам от земли тянулись лесенки, чем дальше, тем выше, для того, чтобы как-то уравновесить изгиб. У последнего подъезда лестница была совсем уж высока, с перильцами, перевитыми так и эдак, и напоминала чем-то сериалы про Нью-Йорк. Где герой провожает героиню до двери, и они стоят на таких же вот ступенях с перевитыми перильцами и говорят долго-долго, и потом целуются. Яну нравились сериалы про Нью-Йорк, «где я не буду никогда», он помнил, какие там бывают и герои, и героини, и подъезды. И эта крутая лестница в обрамлении перил и пухлых кустов сирени, внезапная в склонном райончике Кунцево, где обычно сплошь морды, спортивные штаны да закладки, — она порадовала.

Пассажирка вышла сразу, ждать не пришлось, — вся в черном, с саквояжем в руке. С ног до головы в черном — пальто, чулки, платье, — выпитый гаитянский тонтон-макут, только кроссовки снежно-белые. Полы пальто были распахнуты, и под пальто она была вся перетянута, как сосиска, как будто какое-то специальное белье пережимало ее в талии и на бедрах крест-накрест, платье в облипку очень все это подчеркивало. Она была без маски, высокий ворот поднят до глаз, закрывая нос и рот, и Ян подумал: «Пойдет». Ян на всякий случай тоже натянул на нос маску — боевую, повидавшую виды, с уже натертым желтым пятнышком там, где нос.

— Ян, белая «Кия»? — уточнила пассажирка в раскрытое окно, прежде чем сесть. Ворот ее платья-водолазки поднят был так высоко, что нижние накрашенные ресницы царапали его, кажется, даже с жестяным звуком. На носу у пассажирки сидели блестящие очки в золотой оправе из забавных полукружий, делавшие лицо ее совсем уж анонимным.

— Ага, — согласился Ян.

И она усилась. Вдинув сперва на сиденье свой саквояж, — и в саквояже отчетливомявкнуло. Ян обернулся, рассмотрел: сквозь решетчатый бок саквояжа угрюмо глядела кошачья серая морда.

Ермолович Елена Леонидовна родилась и живет в Москве, училась в Московском технологическом институте (дизайнер по костюму).

Лауреат премии «ДН». Предыдущая публикация в журнале — 2020, № 6.

— Кошечка у вас?

— Это кот. Питомец, плюс двести рублей к поездке, — напомнила пассажирка, устраиваясь.

— А-а, — припомнил и Ян. — А позвольте ваш пропуск?

Она протянула смятый длинный листок, на котором куриным почерком нацарапан был номер. Она была в перчатках, и поверх них надеты были кольца: с красным камнем, и с синим, и с переливчато-белым, лунным. Адрес был тот же, что и в заявке: «Пэ-о Мосрентген, двадцать первый кэмэ Киевского шоссе». Ян вернул бумажку в перчаточно-сверкающую руку и принял выруливать со двора. Пухлая кудрявая сирень коварно царапнула по крыше, а на крутом повороте из саквойжа раздался гневный мяя, переходящий в вой.

— Укачивает, — пояснила пассажирка. — Тс-с, мальчик. А Ян — это Иоанн, как Локлэнд или Баптист?

Ян не знал, что это такое, но на всякий случай ответил:

— Ага.

Машина выплыла со двора и полетела сперва по Верейской, потом по Дорохова. За окном мелькнули четыре широкие трубы, словно горлышки гомерических молочных бутылок, и каждую венчало понурое серое облачко.

— Матвеевская ТЭЦ, — сказала пассажирка. — Здесь никогда не бывает солнечно, всегда пасмурно и дождь.

День был сумрачный, холодный, ветреный и сухой, но словно в подтверждение этих слов на лобовое стекло категорически шлепнулись три капли.

— А Мосрентген, двадцать третий кэмэ — это ведь кладбище? — решился спросить Ян. — Разве кладбища не закрыты на карантин? Или у вас похороны?

— У меня обряд, — ответила она, явно слегка бравируя. Ян даже поглядел на нее в зеркальце заднего вида, она чесала нос сверкающей камнями перчаткой, и между очками и воротом сделалась розовая.

«Обряд» — не хухры-мухры. Люди редко решаются поведать подобное о себе собеседникам, но всегдашнее исключение из правил — попутчики в поезде и таксисты.

— Вы ведьма? — обрадовался Ян.

— Не совсем, — она зарозовела еще ярче.

— А я смотрю, у вас кольца, и с такими камнями...

— Камни хоть как-то помогают, усиливают, а то силенок мало у меня, — пояснила она туманно, красуясь и стесняясь. — Камни — это катализаторы, что ли, плюс один к... — она замялась, явно не решаясь назвать.

— К магии? — подсказал Ян. — А я недавно под ковриком в прихожей соль нашел, и трусы-носки все солью были пересыпаны, вот это что, порча?

— Это приворот, — тихо рассмеялась пассажирка. — Вы женаты?

— С Полинкой так живем.

— Сны видите?

— Кошмары, часто, как меня петлей такой душат и тащат, тащат, тащат, как собаку при отлове.

— Это не то, — тепло успокоила пассажирка. — Слабый приворот, не сработает. Не бойтесь.

— А вы могли бы его — того? Все равно... Отменить?

— Да я немного не про то, я некромант, — в зеркале было видно, как она отрицательно покачала головой. — Но вам это и не надо. Там ничего и не получится. Не бойтесь, — последние слова она сказала ему нежно, как маленькому.

Машина скатилась на МКАД, и на резком повороте кот в переноске заворочался и застонал.

— Бедняга, — пожалел Ян.

Кот крякнул и принялся деловито копать, и в машине бодро и резко запахло экскрементами.

— Остановитесь, — приказала пассажирка, — а то сами же будем нюхать. Ну же, стоп, я выброшу!

Ян скатился на тупиковый съезд. Воняло невыносимо. Съезд упирался в кованый забор, и за забором был лес, ранне-летний, в первых первых зелени. Пассажирка распахнула дверь, и в машине наперекор запахло лесом, — и хвоей, и тревогой, и прелью.

— Выходите, подержите его, — велела пассажирка, — пока я буду выбрасывать.

Ян вышел, протянул руки, и ему немедленно вручен был кот. Тот повис в его руках с надменным, брюзгливым лицом, он был коротконосый, крутолобый, нахмуренный, глазастый, серый, полосатый. Килограммов семь. На шее у него белел замшевый бугристый ошейник, перевитый веревочками.

— Какой ошейник забавный, — похвалил Ян.

— Это гри-гри, — пояснила пассажирка безразлично и непонятно. Она выволокла саквояж на улицу, из кармана взяла прозрачный пакетик, надела на сиятельный свою перчатку и, гордо глядя в сторону и вверх, принялась метать и метать кошачье добро на обочину. Ян из вежливости тоже стал глядеть в сторону и вверх: поверх кота, в лес.

Лес за забором стоял сумрачный, со сводами, как древнерусский терем. Пах невозможно, пронзительно иглами, листьями, запах словно приглашал, заманивал в гости. Полинка говорила, что в лесу сейчас как раз пошли сморчки и строчки, — Ян никогда их не видел, но верилось. Птица надрывно скрипела в ветвях, в высоких еловых лапах, что-то обещая.

Ян побаивался леса, его манкой смертной тревоги. Он однажды вот так же, ранним летом, сошел с поля в ельник, под готический свод, и неглубокая впадинка под его ногами, поросшая кудрявой нежнейшей заячьей капусткой, вдруг выдохнула человеческим голосом: «Ах...» Просто «ах», шепотом, мягко и грустно, словно там, в земле, ненароком потревожил кого-то. Как же он потом оттуда бежал — обратно на яркое, солнечное, живое, зеленое поле...

— Всё, давайте теперь его всадим обратно, — напомнила о себе пассажирка. Ян втолкнул кота в гостеприимно распахнутое узилище, кот полез молча и мрачно, побрякивая своим загадочным гри-гри. Хозяйка застегнула саквояж, и Ян вернулся за руль.

— Остановите! — попросила она опять уже на подъезде к кладбищу, возле палаток с едой и стройматериалами. — Я поесть куплю. Хороший гость — он всегда пообещавши.

Ян остановил у ларька, она выбежала и мгновенно вернулась с чебуреком. Из чебурека масло капало ей в рукав, в дорожное, между прочим, пальто. Ян так уставился, что она сказала, как бы объясняя:

— Это уже все равно, — как прежде она говорила ему «не бойтесь».

Она села в машину, велела:

— Помчали!

Но мчать не вышло, тянулась пробка.

— Как же мы заедем, если кладбище закрыто? — спросил Ян.

Янина Axx

Из цикла «Недоаморы»

Молочные реки (поэма)

Просочившиеся сквозь простыни белые разводы на черном диване означают вовсе не то, что раньше. Это ее молоко протекает и рисует новую картографию жизнедеятельности. Молочные реки по пыльноватым выцветшим берегам.

Свой дом Лодкина тоже не узнаёт. Привычные запахи — надсадный душок грустного дурмана и парфюма на выход — заменил бодрый аромат новых памперсов, присыпки, детского масла. Мультишные пеленки занавесили ар брют, в глазах пестрит от желтого, голубого, зеленого. Поверхности, на которых раньше восседали цветы и кораллы, захватили дьявольской механики штуковины — молокоотсос, колбочка-сцеживатель, подогрев для бутылочек. Зубопрорезыватель, подушку от газиков и прокладки для сосков из-за одного названия выкинуть бы. Лодкина только и делает, что прокладывает, подкладывает, смягчает, присыпает и протирает. Легче от приыханий и подтираний не становится.

На пустышки — Лодкина в первую очередь запаслась ими как единственными понятными объектами — приходящая акушерка смотрит как на грех. И Глаша тоже. Выплевывает с оскорблением видом и не затыкается, пока не заполнит весь свой рот мягким лодкинским соском. Сосет сосредоточенно с открытыми глазами — перед ней только бесконечная дюна груди. Этот серьеzyный, как северное море, глаз в районе собственной подмышки отрезвляет Лодкину — он мудр и исполнен важности.

Насосавшись, Глаша отпадает, как выполнившая миссию пиявочка. Лежит, наконец, каноническим ангелочком. Пару минут.

Если Лодкина сама не уснула, она закрывается в душе, включает плейлист студенческих времен и наяривает щеткой по массажным линиям. В остальное время тела своего не чувствует — только распределенную в разной степени тяжесть, которой нужно двигать. Поднимать ее, переносить, не кантовать.

Сбившиеся слои ваты, изолирующие ее настоящий живот, Лодкина трогает мочалкой. Руками страшно — разве же это я? Это не мое, чужое. Когда живот рос вместе с Глашой внутри, было весело — далеко ли еще они дорастут и не лопнут? Всё, приехали... лопнули.

Янина Axx родилась в 1980 году в Новосибирске. Учились в Казанском театральном училище на отделении «Актер эстрады». Окончила с отличием отделение английской лингвистики Татаро-американского регионального института и магистратуру по направлению «Функционирование телевидения» Казанского федерального университета. Проводила исследование «Искусство — дитя свободы» в рамках стажировок для журналистов в Свободном Университете Берлина. Работала в различных татарстанских СМИ, в том числе главным редактором экспериментального журнала VS. Печаталась в журналах «Артикуляция», «Берлин. Берега», «Идель».

Наголосившись, наревевшись в душе — музыка орет защитной стеной, — пару раз выдохнет со стоном перед тем, как открыть дверь и вместе с паром ворваться в новую жизнь. Лодкина рождается из чрева ванной, а за порогом неизвестная среда, в которой она еще не научилась дышать. У нее жабры не подходящие, не материнские. Визг, дым сгоревшей картошки, Лодкин, почему-то показывающий ей утюг. Обратно уже не спрятаться, не закрыться. Теперь пережидать до следующего сончаса.

Когда на третий день после родов грудь налилась, как у иконы порно, Лодкина фоткалась. Но куда такое выложить? Лицо заревано — пока грудь наполнялась молоком, ее одолевали истерические смех и рыданья. Глаза похожи на мидии, щелочки которых горят изнутри диким блеском. Опухшие губы — вот еще из красивого, кроме бюста четвертого размера.

Попросила Лодкина принести темные очки из дома. Трется об него надутыми титьками. Лодкин зарывается между ее волосами и шеей. «От тебя пахнет молоком». Совсем скоро перестанет быть приятно, когда он так говорит.

У Глаши ротик малюсенький, с пятицентовую монету, но беззубыми своими деснами она, как щелкунчик, ухватывает сосок. Лодкина взвизгивает, младенец пугается и пищит, рискуя разорвать свои игрушечные легкие. Лодкина придумала грызть край пододеяльника, пока эта миниатюрная акула — недаром бомбы маскируют под запелёнутые свертки — раздирает ее плоть.

— Если заснет, вставьте ей в рот палец вот так, сбоку, — разожмите челюсти, — в роддоме обучает медсестра с сектантским блеском в глазах. — Не давайте ребенку висеть без дела. Пусть разрабатывает вам соски. Ничего, что кровоточит.

— У меня ощущение, что фрау Краузе меня отчитывает, — жалуется она другой сестре.

— У фрау Краузе семь детей, не обижайтесь на нее, она просто очень устала. Она хорошая женщина, правда. Видите, ваша дочка заворачивает нижнюю губку вовнутрь? Расправляйте ей ротик.

А природа не могла сама позаботиться? Почему у малявки во рту должны ковыряться Лодкина и целая армия теток?

Совершите лучше варварство над самой Лодкиной, разожмите ей челюсти, расправьте губы — на лице ее страдальческая маска. Это катастрофа: Лодкина — певица. Неделю назад она орала так, что потеряла голос. И хрен с ним, — карьера потеряна уже пару лет как. Акула Глаша причмокивает рыбкой гуппи.

— Я, наверное, перейду на смесь, — говорит Лодкина матери по телефону. — Ничего у меня не разрабатывается, вся грудь в синяках, соски в запекшейся крови. Как военный грин.

— В твоих интересах здоровый ребенок. Так обеспечь его иммунитетом. Или вообще никогда себе не будешь принадлежать, — мать умеет отрезвить.

— И то дело! Отчего не пострадать?! В конце концов, когда у меня еще будет третий размер? А вчера еще был четвертый.

— Ну и третий твой скоро спадет. А перестанешь кормить — останутся только сдувшиеся шарики...

— Спасибо, мама, умеешь поддержать, — Лодкина вспомнила, почему запретила матери приезжать в Берлин к ее родам.

— Ты не выносишь правду, Настя. Всё в своих фантазиях, иллюзиях бесконечных. Оргазмические роды какие-то придумала...

— По-ка!

А ведь она действительно верила, что роды будут оргазмическими. Написала отказ от эпидуральной анестезии. Врач посоветовал повременить и не принял документ — иначе ей при всем желании не смогли бы поставить эпидуралку. Теперь-то она матерая мать и доверяет медицине больше, чем природе.

Когда схватки начались, Лодкина танцевала под мантры. Лодкин сначала массировал ей крестец, но быстро скопытился от усталости. Выждала положенные пять часов — по часу на каждый сантиметр раскрытия — и вызвала «скорую». Поездка

под сирену, скорость машины между ног, пожалуй, и стала самой гармоничной частью процесса — она вдоволь наоралась.

Заявляется в роддом, который выбрала только из-за наличия бассейна.

— Ну, принимайте в водичку!

— Так у вас раскрытие-то всего сантиметр, погуляйте пока...

А дальше был трип по описанным у древних адским дорогам — она что-то поняла и про земные тени, и про демонические стрелы, и про «убояться зла». Из ее утробной мясорубки, казалось, может вылезти только фарш. Но нет — как спортивный снаряд из неизвестной игры, как перезрелый плод, только теплый и могущественный, шлепнулся на кушетку подарок из тех темно-красных обителей, в которых она побывала. Мокрый человек, отменивший боль.

* * *

Приехали из роддома, Лодкина вышла на балкон и отгородилась от новой реальности стеклянной дверью. Сидите тихо в своем аквариуме, а я проветрю легкие.

Как нарочно, демонстрацией по улице идут с вином и цветами, едут на великах в длиннополых шляпах. Дымят марихуаной и пританцовывают. Совсем охренели целоваться прямо под лодкинским балконом.

Лодкина хочет спуститьсяся, — как объяснить Лодкину и новой маленькой Лодкиной, что ей надо уйти? И свои ноги как уговорить ходить по-людски?..

— Эй, возьмите меня с собой!

Вот ведь она — настоящая лодкинская жизнь. Самоубийственное расстояние разделяет их — ее и жизнь.

Покидает открытое пространство — из космоса возвращается в капсулу квартиры. Дочка, как в замедленной съемке, диригирует нано-руками. Трогает воздух, ощупывает его атомы. Что она там видит? Куда ты смотришь, пришелец? Научи меня, покажи! Глаша, не отводя взгляда из никуда, ручонкой проводит по лодкинской шее.

* * *

В беременность Лодкина избегала мамские компашки, гуляла сольно. Ледоколом, работающим на веселящем газе, она двигалась по красивым бульварам, а ей улыбались.

Теперь улыбаются Глаше, но той пофиг. Она мявит и хочет повиснуть на груди. Лодкина сканирует взгляды, вылавливает сочувственные и не знает, как их утилизировать. Где контейнер для радиоактивных отходов?

Да-да, ну конечно, это я! Просто не беременная. И хорошо, что не узнали. Мы, русские, считаем, это к богатству.

Нужно поддержать себя, свою новую роль. И вот она уже рисует прости господи мандалы на сессии против материнского выгорания. Ау, я заземляюсь! Это кафе в огороде. Сливайся с природой, Лодкина! Сын арт-терапевтки Стаси посыпает песком выгоревший самосвал. Глаша кряхтит и причмокивает в коляске, укрытая кустами лебеды. Рисовать у Лодкиной с детского сада выходило плохо, материнство чакры рисования не открыло. Стася находит ее линии «разрушительными», но «надо вырисоваться» — тогда и на Лодкину снизойдет гармония.

Индюком подпрыгивая между грядками, показался бодрый здоровяк. Пупс-великан лет пятидесяти. На нем майка-сеточка из арсенала восточных гопников ишелковый шарфик с баҳромой. Загляделся на Лодкину и растекся улыбочкой визиря из иллюстраций к «Тысяче одной ночи». Лодкина отворачивается — что за нах? а визирь чешет прямо к их столу и приветствует Стасю фальшивым поцелуем в щеку.

Смуглый, бравый, он как будто из мультика выскочил со своими круглыми глазицами. Это Наджми, Стасин коллега-психоаналитик.

— Вы какой метод проповедуете?

— Глубокий и проникновенный, — что-то в этом духе. Лодкинского немецкого не хватает, чтобы расспросить его подробнее. И заморачиваться в ее планы не входит.

Тут вопит Глаша и, приложившись к груди, заводит свою обеденную мычалку.

Юлия Ефременкова

Всё не то

Рассказы

Голая

Высокая, худая, голая, она остановилась передо мной и попросила купить билет.
— Мне до Франкфуртер Тор, пожалуйста.

Как странно, удивилась я, но не тому, что незнакомая женщина стоит передо мной на станции метро без трусов в час дня. Это Берлин, здесь такое бывает. Почему она уточнила, что едет до Франкфуртер Тор? сказала бы просто *kurzstrecke* (для короткой дистанции)?

Я протянула ей билет, и, вместо спасибо, голая женщина несколько раз повторила, что забыла сумку с кошельком, такая нелепость. Черные коротко подстриженные волосы, тщательно раскрашенное лицо, разрумяненное так, что выглядит притороченным к бледной шее. Подошла к компостеру — кости, ребра, сплошные углы. «Цак-цак. Одиннадцатое февраля. Тринадцать ноль пять», — озвучила она пробитый билет. На ногах скучные ботинки без каблуков. Синяк на бедре. Глаза спокойные, четкие, слишком здоровые для такого голого тела.

До нашего поезда оставалось шесть минут. Подземный сквозняк даже через толстую ткань пробирает до мурашек, но женщина стояла ровно, словно ее кожа была теплей моей куртки для арктических путешествий. «Черт, кажется, пора уходить. Я не могу делать вид, что все нормально. Очередной перформанс? Сюрреалистический квест? Берлинале? Наркотики? Где люди? Капюшоны?»

Я не двигалась и старалась не смотреть на нее. Рассеянно теребила телефон: доставала из сумки, протирала экран, перекладывала в карман, смотрела время, не понимая чисел. Женщина подошла ближе, и пришло запомнить, что кожа ее спины усеяна мелкой дрожью веснушек, а белая плитка на стене станции Штраузбергерплатц напоминает бассейн. Я ухватилась за эту ассоциацию и представила, что стою в раздевалке и надо снимать сапоги, идти босиком по мокрому полу, потом горячий душ, прыжок, холодная вода, задержка дыхания, тишина, нарастающий гул при движении, и все исчезает.

Ефременкова Юлия Валерьевна родилась в Одинцове Московской области в 1983 году. Окончила факультет истории, политологии и права РГГУ. Печаталась в журнале «Берлин. Берега». Участовала в XVI Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Живет в Берлине. В «ДН» публикуется впервые.

Подошел поезд, мы сели рядом. Полупустой вагон завыл. Нога на ногу. Пыльные ботинки. Двое школьников с огромными рюкзаками на секунду оторвали глаза от гаджетов, тихо посмеялись и снова занялись игрой. Несколько молодых мужчин рассеянно посмотрели на голую, но не изменили выражения лиц. Пустые глаза в пустоте. Пожилая женщина проворчала что-то, закашлялась, отвернулась.

Я распереживалась, что женщина голой попой сидит на сиденье, здесь часто спят бомжи. Достала из сумки бумажный пакет. Предложила ей. Она не поняла, посмотрела на меня строго, словно это со мной было что-то не так и это я на самом деле раздета.

На следующей станции зашел пожилой человек в добротном пальто и в альпийской шляпе. Я предложила ему присесть, он поблагодарил и, тактично не заметив чужой наготы, закрылся газетой. Я развернулась к голой женщине спиной, но уткнулась в отражение ее шеи в окне вагона. Она тряслась, стиравась, превращалась в чертеж, но все равно существовала.

— Франкфуртер Тор. Ваша станция, — обратилась я к ней, выходя из вагона.

— Спасибо. Но я, пожалуй, поеду дальше, — спокойные четкие глаза равнодушно попрощались со мной. Двери закрылись. Оживший манекен махнул рукой. Я выбежала из подземного мира — яркое солнце, желтые трамваи, ветер, девушка в берете, девушка в капюшоне, куртки, пальто, рассстегнутые пуховики, белые дома, голубое небо, почти весенний Берлин. Но все же... почему она сказала «до Франкфуртер Тор»?

Пасха в Савоне

В Савону приехали случайно. Сели в первую пришедшую электричку в Турине и через два часа оказались в русском магазине у моря и пальм. Желтое облезлое здание с зелеными ставнями. Мандариновое дерево. Следы мозаики у двери. «Танюш, а где у вас здесь самое горячее из горячительного? А куличи-то нормальные есть? Или только к русской Пасхе привоз будет?» — «С наступающим, Нонна Ивановна. Добрый день, Алла Андреевна. Как дела, Леночка? Берите сметану литовскую. Сырки глазированные замороженные. Колбаса вот эта хорошая. Нет, завтра в Пасху открыты, на православную закрыты. Селедка есть».

Покупатели здоровались друг с другом, некоторые обнимались. Крупный лысый мужчина открыл банку с рижскими шпротами, покачал головой: «Нда... Все же не те». Мы стояли с походными рюкзаками у полки с пряниками, растерянные, уставшие после дороги, и не понимали, зачем мы здесь. «Медовик. Горилка. Эскимо. Малосольные огурцы. Тархун». Под ногами лужами разливалось солнце, на руках в смартфонах умирал интернет. «Вовка в Ниццу поедет яйца святить, ваши захватить?»

Booking.com с жильем не помогал, местные сайты с арендой апартаментов не грузились. Кто-то спросил, есть ли в магазине нормальный портвейн, и окружающее окончательно расползлось во времени и Италии, превратившись в Гурзуф, где пятнадцать лет назад в таком же магазине я спрашивала у продавщицы про ночлег.

— Что желаете, ребята? Есть батончики «Рот Фронт». Квас хороший. Пиво.

— Простите, а квартиры у вас нет? Никто не сдает? На ночь или две? Приехали спонтанно, а жилья нет.

Продавщица вопросу не удивилась, поправила очки, внимательно нас оглядела, вышла из-за прилавка и тоном старости на пионерском собрании обратилась к посетителям: «Друзья, надо помочь ребятам, они туристы, и им негде в Савоне спать. Давайте искать варианты, не оставим же семью на улице ночевать?»

Григорий Марк

Глагол и ему наречённая вещь

* * *

Что-то щёлкнуло. Мозг заработал с гуденьем.
Это памяти лентопротяжный конвейер
перед мысленным взором тащил галерею
неопознанных судеб, их хитросплетений.

Нет людей. Только щёки, носы, подбородки.
Моё прошлое тянется узкой полоской.
Все цвета, весь объём чёрно-белым и плоским
заменили. Расплющили в старые фотки.

Клонит в сон. На задворках сознанья остаток
прежней жизни, как соль, потерявшая силу.
Позабытые лица, последняя милость
в ночь, когда начинается новый десяток.

* * *

Бревенчатый сруб на холме окружён
лужайкой, заросшой травой голубою.
Четыре утра. День рождения имён.

Сцепившись порукою рифм круговою,
на длинных скамьях восседают слова
в надвинутых шапках. Размазаны лица.

Из стрельчатых окон по стенам сочится
дрожащая утренняя синева.

Стекает по ватникам, вниз с рукавов
на пол деревянный. Там, в лужицах ночи
полошутся радуги в свете проточном.

Восходят носы над провалами ртов.
И гул нарастает. Мельканье страниц.

Григорий Марк — поэт, прозаик. Родился в 1940 году в Ленинграде. По образованию математик. С 1974 года в эмиграции. Автор пяти поэтических сборников, в том числе «Глаголандия» (СПб, 2003), и пяти книг прозы, среди них «Двое и Одна» (М., 2017). Живет в Бостоне (США).

В глазах, словно петли обмётанных плотно
пушистыми нитками чёрных ресниц,
зажглись ободки золотые, и сотни
глухих голосов заполняют избу.

Радение Живоязычников — ими
ещё языки остаются живыми,
вещей имена обретают судьбу.

Снаружи, столпившись у входа, ревут
огромные туши пока безымянных.

Мычат и, беременные ожиданьем,
покорно жуют голубую траву.
Глядят на помост, разукрашенный весь
сплетёнными лилиями полевыми.

Здесь вечером будут венчаться на Имя
глагол и ему наречённая вещь.

А в небе три ангела русскихозвучий,
крылами шурша, патрулируют тучи.

* * *

Сноп тёмного блеска, надрезанный сбоку
серпом полумесяца. Ночь напролёт
свет хлещет из раны. Вверху одинокий
петух проходящие тучи клюёт.

И висельник-колокол в юбке чугунной —
язык его вырван — бессильно мычит
от бешенства. В мутном сиянии лунном
уходит под землю собор-инвалид.

* * *

Вот время настало. Не летнее время цветных переливов,
но бедное, честное время, когда только чёрное с белым.
Замёрзшего света подтёки в сосульках. Наш лес в негативе.
Речь тянется медленно. В шарфе дыхание заиндевело.

Снег прячет гнилое, ненужное. Заворожённо верхушки
деревьев во сне чуть качаются под завывания ветра.
Их длинные узкие тени дрожат, прижимаясь друг к дружке.
Очнувшись, с трудом поднимаешь вверх голову. Сучья и ветви
сплелись рукописными буквами, чёрною вязью старинной.

В стволах по бугристой коре пятна солнца ползут, словно слизни.
И, двигаясь взглядом вдоль контура леса, название картины
сумеешь прочесть: лес зимою, конец декабря нашей жизни.

Последнее время замедлил Дающий всему становиться.
А ты как олень на дороге, и свет набегает в глазницы.

Дружба на варост

Александр Селин

Зелёный клин

Рассказы

Бабаня

Мою бабушку похоронила моя прабабушка. Меня на похороны не взяли.

— Под стол еще пешком ходит, не понимает он ничего в смерти, нечего ему там делать, — сказала Бабаня моей маме. Я был выше стола, но в смерти действительно ничего не понимал. Называть прабабушку Бабаней придумал я сам. Соседка по огороду часто и громко кричала: «Баб Аняяя, баб Аняяя», — когда хотела поговорить с прабабушкой через рабицу. Вот и придумал. Прабабушке понравилось. С кладбища Бабаня принесла кошку.

— Возле сторожки ходила мяукала. Мокрая, в глине вся. А я подумала, хорошо, будет что-то живое в дом вернуть. Хотя бы этот комочек.

Бабаня никогда при мне не плакала, она просто уходила в свою комнату. Кошку я стала называть Барби, — так звали соседскую собаку и какую-то популярную куклу.

— Какая ж ты Барби? Найда. Будешь Найдой, — сказала Бабаня кошке и пошла в свою комнату.

Барби оказалась взрослая, но, как сказала Бабаня, «нерожавшая» и, видимо, от этого очень смышленая. Гулять по дому ей запрещалось. Дом был прабабушкин, его построил ее муж, которого она тоже похоронила. Поэтому все запреты были прабабушкиными. Я же кошке ничего не запрещал и таскал ее по всем комнатам. Почувяв неладное своими подергивающимися ушами, Барби лезла под диван, потом аккуратно по стеночке пробиралась до открытого окна и шмыгала во двор.

— Найда, Найда. Найду не видел? — спрашивала Бабаня и тут же слышала со двора ее громкое мяуканье. — Ах, вот ты где, ну, иди сюда, я тебе рыбки наловила.

Бабаня рыбачила на мордышку.

Два металлических кольца от бочки оборачивались в старый тюль. Одно кольцо меньше другого, чтобы рыба лучше путалась. На дно проволокой прикручивались груз и держалка для хлеба. Все это подвешивалось на длинной веревке и спускалось в канал с моста. Течение у канала было слабое. Рыба заплыvala в мордышку за хлебом, а Бабаня вытаскивала ее и помещала в литровую банку с водой.

Селин Александр Константинович родился в 1983 году в Томске. Окончил Кыргызский Технический Университет им.И.Раззакова по специальности «Вычислительные комплексы, системы и сети». Печатался в журналах «Нева» и «Зарубежные задворки». Живет в г. Алматы. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Вот еще пару гальманчиков для моей Найды, — приговаривала она при этом.

Однажды батя сделал мне мордышку из согнутых в круг арматурин. Мордышка получилась тяжелая, никакие течения ей были не страшны. Я пошел на канал и забросил ее прямо под бьющую струю холостого сброса гидроэлектростанции, которая была на канале. Мордышка до краев наполнилась рыбой. Когда я с гордостью показал Бабане улов, она почему-то наругала меня, а потом и моего батя.

— Хочешь, чтобы я еще и правнука похоронила? — замахнулась она кухонным полотенцем и пошла в свою комнату.

Комната у Бабани находилась в середине дома, поэтому без окон.

— Как в гробу, конечно, зато самая теплая, — говорила Бабания.

У меня своей комнаты не было. Я спал в коридоре. Уроки делал в зале. А шкаф с моими вещами стоял в спальне родителей. На моей кровати мы с Бабаней часто играли в нарды. Кто проигрывает кон, тот слюнявит полоску бумаги, оторванную от старой газеты, и лепит ее себе на лоб. Бумажки шевелились, отвлекали и мешались. Бабания дула на мой лоб и громко смеялась. Я тоже смеялся. Под конец игры на моем лбу можно было прочитать прошлогодние новости. Бабания никогда не проигрывала.

Барби родила. Она с месяц ходила с толстым брюхом, а потом окотилась прям на ковре в Бабаниной комнате.

— Ну, и как я теперь это пятно отмою? — спрашивала Бабания у кошки и гладила ее по голове.

Котенок получился всего один. Видимо потому, что это были первые роды. Барби таскала его по всем комнатам за шкирку. Кошке перестали запрещать гулять по дому, и она на радостях не знала, где остановиться.

Как-то днем Бабания вышла из своей комнаты и позвала меня поиграть в нарды. Когда я подошел к кровати, Бабания уже сидела и расставляли фишки. Подбежала кошка. Она крутилась около ног. Странно мурчала и мяукала одновременно.

— А где ж твой котенок? — спросила Бабания, потом ахнула и поднялась с кровати.

Котенок лежал, свернувшись калачиком, и не шевелился.

— Вот я дура старая, вот же дура неуклюжая. Найда, что ж я наделала? Найда, прости меня. Прости, меня дуру, Найда... — Бабания взяла кошку на руки и отдала ее мне. Котенка похоронили в огороде.

Барби сошла с ума. Она много спала днем. Потом куда-то пропадала на несколько суток. Возвращалась вся худая и ободранная. Ходила по дому, громко мяукала, как будто звала кого-то. Снова ложилась спать. Ела плохо. Иногда ее тошило прям на пол. Бабания молча прибиралась за ней и вздыхала.

Однажды ночью я проснулся от громкого крика. Бабания звала мою маму. Мама зашла к ней в комнату и не до конца закрыла двери.

— Что это, Лида? Что это из меня такое течет? — говорила Бабания.

Мама брала какие-то тряпки, меняла воду в ведре и еще несколько раз заходила в комнату.

— Что-то по-женски, видимо, — отвечала она. — К врачу надо с утра.

Утром, когда Бабания ушла, я зашел в ее комнату. Рядом с небольшим пятнышком крови от родов Барби появилось новое большое пятно такого же цвета.

После врача Бабане стало хуже. Она больше не ходила на рыбалку. Не говорила с соседкой. Не играла со мной в нарды. Плохо ела и вообще редко выбиралась из комнаты. Часто она стонала. Из-за этого я плохо спал. Барби приходила ко мне ночью,

ложилась около головы на подушку и начинала меня вылизывать, как котенка. Тогда я спал хорошо, хоть и просыпался иногда с мокрой от кошкой слюны головой.

Дверь в Бабанину комнату все чаще была закрыта. Открывала ее только мама. Каждый день после работы она брала ведро с водой и тряпку. Заходила. Выходила. Выливала воду, промывала ведро. Заходила. Выходила с другим ведром. Выливала из него что-то, ополаскивала и заносила пустое ведро обратно. Проветривала дом, долго мыла лицо и руки. Иногда она нюхала поочередно плечи и спрашивала:

— У меня от одежды ничем не пахнет?

От мамы ничем не пахло.

В один из дней Бабания громко начала звать мою маму. Мама была на работе. Я делал уроки и не знал, как реагировать. Дверь Бабаниной комнаты открылась. Бабания вышла. Голая.

— Лиза, Лиза... Дышать нечем, — кое-как передвигаясь, Бабания добралась до моей кровати, легла, тихонько застонала и замолчала. Она была похожа на большого задавленного котенка.

В этот раз меня взяли на похороны. Я смотрел на то, как в яму кидают по три горсти земли, и думал, что теперь у меня будет своя комната.

Грошик

Босиком по гравию с серпом в руках за нами гнался Вичкин младший брат. Свободной рукой он придерживал семейные трусы. Его лицо было красным и заплаканным. Мы кидались в него мелкими камешками, подбегали с разных сторон и отбегали.

— Грошик, Грошик, — трусы для мандавошек, — давясь от смеха, пытались мы переорать друг друга.

Потом Грошик уставал и шел на канал топиться. Он сидел на висячем мосту, опустив ноги в воду, и громко говорил с течением. Всякий раз он начинал разговор с одной и той же фразы:

— Эх, зачем же меня мать родила...

Издевались мы над Грошиком вечером, когда старшаки доделывали свои домашние дела и выходили на улицу. А днем Грошик был моим другом.

Наши огороды примыкали друг к дружке. Утром я собирал малину, а Грошик копал яму.

— Вот выкопаю побольше и буду разводить кроликов. Главное, еды им подкидывать и воды, а они уж сами тут наразмножаются — только успевай их силком ловить, — говорил Грошик и перелазил ко мне помогать со сбором малины.

А потом я перелазил к нему. Помогал ему я редко. Чаще смотрел, как он копает, и как Вичка пропалывает и подвязывает помидоры. Грошик не понимал, почему я на нее отвлекаюсь. Он был младше меня на два года.

Родители у Грошика жили разные. Мамка родная — Грошева. Она подходила по утрам к бельевым веревкам и развешивала на них смоченную с одной стороны в расплавленном парафине туалетную бумагу. Когда парафин твердел, она снимала по одной бумажной ленте и сворачивала ее в цветок. Иногда бумага была подкрашенная.

Золотые страницы «ДН»

Равиль Бухараев

Стезя

Увенчание Пушкина в садах Сололаки в Тифлисе

Грузинские розы, в руке — виноградная гроздь;
венок на курчавую голову — пир в полумраке.
За вечное празднество духа, за рабскую плоть
любите меня на рассвете в садах Сололаки!

Награда едина, и жизнь так мгновенно проста!
За вечную праздность в союзе любви и печали,
за горечь хмельную и слёзы — венком увенчали.
Как звёздная Азия пряно целует в уста!

Но рабский восторг обещает мне храм на крови.
Меня вы поймёте едва ли, поймёте едва ли...
Так чьи же молитвы возносятся в горние дали,
чтоб в мокром бокале журчал так тревожно аи?

Не смерть ли моя разрезает набухший гранат?
Моё ли бессмертье восходит зарей над Кавказом?
Мой горный венок! — и увенчанный чувствами разум
в заветной дремоте отныне не просит наград.

Лукавый венок! Никакого не нужно названья
для жизни и смерти: почтим равновесье в судьбе.
Морозные розы венка или слёзы признанья
останутся равно в садах на рассветной траве.

Так пойте и пейте! В божественном, смертном краю
умру и воскресну! За жизнь в умирающем злаке,
за рабскую верность, за бедную душу мою
любите меня на рассвете в садах Сололаки!

Бухараев Равиль (1951—2012) — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в Казани, в семье профессора математики Раиса Бухараева. Окончил механико-математический факультет Казанского университета и аспирантуру МГУ по теоретической кибернетике. В 1969 году вышла его первая поэтическая публикация на русском. Равиль Бухараев писал стихи на татарском, английском и венгерском языках. Переводил татарских поэтов. Автор более 20 книг стихов и прозы, составитель ряда поэтических антологий и исторических монографий на английском языке. За поэтическое творчество награжден Государственной премией Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая.

Дикая лоза

Едва сомкну глаза, как озарённо снится
природная лоза: лиана-кровопийца,
дикорастущий бес.
Задушено величье:
терзай абхазский лес,
корми гнездовые птичье!

Сон: зелень хороша и на стволе обвитом.
Сон: чаща — что душа, бессмертная самшитом.
Сон: царствует озноб, какого не нарушу.
Сон: и высокий лоб не исцеляет душу.

Нужна самшиту дрожь, хоть плоть его железна.
Лианы не тревожь — работа бесполезна:
лоза взрастёт сама, но сквозь века и грозы,
сквозь мерный труд ума и рук метаморфозы,
впиваясь в телеса смоковницы нелепой,
смущая небеса живучестью свирепой...

О дикая лоза, утеха человека!
И грозная слеза сползает из-под века.

Воронка солнца

Въезжала молния с разгона
В утёс над пропастью сырой,
Жильё таёжного кордона
Высвечивая под горой.

Шумели мокрые берёзы,
И, лодкой реку бороздя,
Под кров Герасима и Розы
Мы завернули от дождя.

Аил — кедровый шестигранник,
Где в центре — кованый таган...
Здесь каждый осторожный странник
В почете, как Бильге-каган.

В пространстве этом еле зrimom,
Вокруг укромного огня
Не очень громко пахло дымом
И кислым духом чегеня,

Но за глаза хватало света
Для чаепития и мне
И тем, кого лучи рассвета
Не застают на топчане.

Я оценил удобство крова,
Но ускольззала с дымом суть...
«Алтайца жизнь была сурова,
затем открылся светлый путь», —

но я, взрослея, не в бреду ли
почёл за счастье и за честь,
как бы вставая на ходули,
казаться выше, чем я есть?

Ведь, кроме искуса причастья
к чужой судьбе своей судьбой,
сейчас не знаю выше счастья,
чем быть в ладу с самим собой...

Я засыпал. Кончая дело,
Сшибались лбами облака,
Река, как вечный ливень, пела,
А ливень лился, как река,

И кров — хибарка без оконца —
Отверстый в космос наверху,
С зарёй предстал — Воронкой Солнца!

Я видел, лёжа на меху:

На угли очага живые,
Как поколения назад,
Летели ливни световые,
Летел наклонный солнцепад!

Аила скучное убранство
На звонком солнечном свету
Обозначало постоянство,
Необходимость, простоту,

Где радости и лихолетья
Сплетались в ежедневный труд,
Где протекли тысячелетья,
Да и сейчас ещё текут!

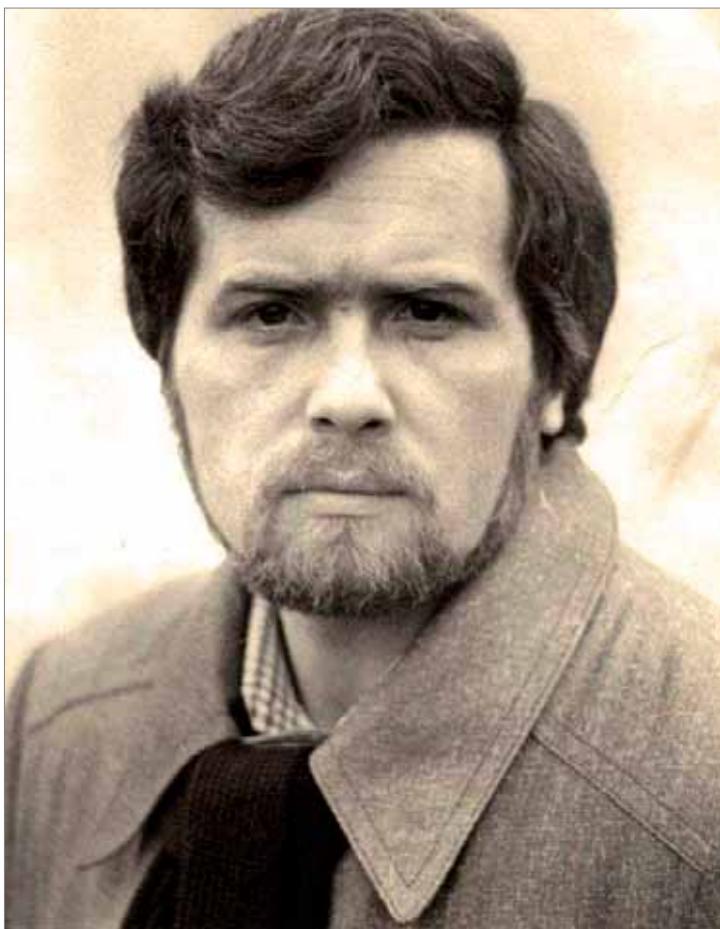
Многоэтажный вспомнив улей,
На землю возле очага
Я встать решился без ходулей,
И твердь освоила нога;

Бил свет сквозь верхнее отверстье,
И — беспощадно, наяву
Я ощутил своё столетье,
В котором грежу, но — живу!

Чем завершится эта проза?
Когда мы покидали кров,
Герасим был в тайге, а Роза
Доила трёх своих коров.

(«ДН», 2011, № 4)

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ
1951–2012



Начало 1980-х годов.



Встреча с читателями. Начало 1980-х годов.



С Ахатом Мушинским.
VI Всесоюзное совещание молодых писателей. 1975 год.



С женой Лидией и сыном Василием. Москва, 1980 год.



С отцом – Раисом Бухараевым, профессором, завкафедрой кибернетики Казанского университета.



С Андреем Вознесенским и Лидией Григорьевой. Лондон, Пушкинский Дом, 1995 год.



С японским поэтом Такаси Аrima на Всемирном конгрессе поэзии. Тайвань, 1994 год.



Конец 1990-х годов.



С Генеральным секретарем Европейского общества культуры
Мишель Компаньоло-Бувье. Венеция, 1995 год.



С Владимиром Васильевым. Лондон, 2000 год.



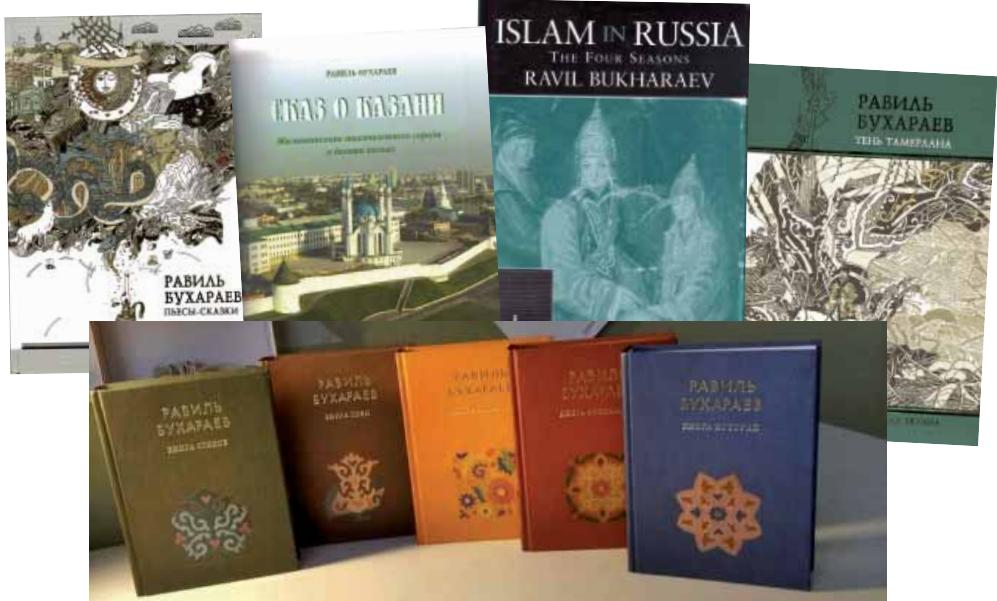
После вручения Госпремии Татарстана им. Габдуллы Тукая. Казань, 2006 год.



Международный поэтический фестиваль имени Н.И.Лобачевского. Казань, 2011 год.



С Народным поэтом Татарстана Ренатом Харисом.



Наталья Харлампьева

Тюркский брат мой

Вспоминая Рауиля Бухараева

Скоро уж десять лет, как ушел из жизни поэт, философ Рауль Бухараев. Татарин, который писал прекрасные стихи на русском, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат Госпремии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Впрочем, он писал и на татарском, и на венгерском, и на английском языках. Он вырос в семье ученых, отец его, Раис Гатич Бухараев, был доктором технических и физико-математических наук. Родители дали ему прекрасное образование, он окончил механико-математический факультет Казанского университета и аспирантуру МГУ по специальности «Теоретическая кибернетика», владел английским в совершенстве. Стихи писал, можно сказать, с детства, но стал считать поэзию главным смыслом своей жизни уже в зрелом возрасте.

Моя дружба с ними — именно с ними: с Раулем и его женой Лидией Григорьевой — началась с переводов. Лидия, замечательный русский поэт, в те годы занималась переводами. Ее переводы мне очень нравились — что-то необъяснимое совпадало в ее и моем видении мира.

Рауль принял меня сразу как сестру — мы ведь тюрки по крови... Жизнь менялась, иногда в лучшую сторону, иногда в худшую, но наша связь не прерывалась. Я часто бывала в их доме, останавливалась у них в Москве.

Я помню их быт еще в коммуналке на Соколе, помню их сына Васю еще маленьким... Эта пара была настолько искренна и гостеприимна, что все то, чего они касались, казалось необыкновенным, исключительным и предназначенным именно тебе. Это, видимо, исходило от света их любви, от гармонии их отношений. И любая мелочь в их жизни освещалась этим светом. Помню, с каким старанием и с видом человека, совершающего таинство, готовил кролика Рауль в один мой приезд... Затем они получили квартиру в Филях, на 22-м этаже, мне тогда это казалось таким романтичным — поэты, живущие под куполом неба! Рядом протекает Москва-река!

Вскоре началась перестройка, писатели оказались никому не нужны. Рауль уехал сначала в Венгрию, выпала разнарядка через Союз писателей — приглашение на обучение венгерскому языку. Затем — в Великобританию. В Англии они осели. Рауль работал на Би-Би-Си в русской редакции, с ним заключили долгосрочный контракт. Они купили дом в очень хорошем районе Лондона. Дом стоит на пригорке, откуда открывается вся панорама Лондона. Там, на окраине огромного парка, водятся не только белки, но и лисы. Лида разбила в маленьком дворике замечательный сад, где цветут розы и разные диковинные цветы, названия которых я, как северный человек, и не стараюсь запоминать. Красивые, чудесные, заморские. На нашей вечной мерзлоте таких не бывает.

Для Равиля и Лиды Англия была и осталась чужбиной, но английский период у Равиля, наверное, был самым плодотворным.

Он работал в разных жанрах: писал пьесы, стихи, прозу, — и во всех писательских ипостасях был великолепен. Сотрудничество с Би-Би-Си обеспечило ему достойную жизнь, а самое главное, — открыло новые возможности работать во славу своей Родины и родного народа. Он был и оставался патриотом России и сыном татарского народа. Работал на износ: служба на Би-Би-Си, свои стихи, обращение к исторической прозе, издание книг, посвященных Татарстану, и поездки... Одно перечисление изданного в Лондоне по его инициативе говорит само за себя: «Казань. Зачарованная столица», «Ислам в России. Четыре времени года», «Модель Татарстана», «Президент Минтимер Шаймиев и модель Татарстана»... Также на английском Бухараев издал антологию «Исламская поэзия поволжских татар», «Историческая антология татарской поэзии». Написал венок сонетов на четырех языках: татарском, русском, венгерском и английском. Им была переведена и издана уникальная книга — «Поэзия Золотой Орды».

Он был духовным послом Татарстана — в Англии и не только. Много ездил по миру, принимал участие в литературных фестивалях, встречался с именитыми коллегами и просто читателями. В последние годы был экспертом ООН по детской литературе, и у него было много идей и планов. Мне тогда казалось, что Равиль нашел самую удачную форму бытия поэта — его свобода духа наконец-то нашла выражение в неограниченном передвижении, в творчестве без оглядки, в доступном издании книг. Книги, которые он считал нужными своему народу.

Творческое наследие Равиля Бухараева настолько многомерно, что я даже не берусь его оценивать. Бухараев был известным во всем мире российским литератором, он хорошо знал устройство российского общества, он мыслил в планетарном масштабе. Он был свободным писателем, который хорошо знает свои татарские корни. Он перевел поэтов Золотой Орды, классиков татарской литературы Габдуллу Тухая, Сибгата Хакима, издал в Лондоне написанную в XIII веке поэму Кул Гали — в прекрасном полиграфическом исполнении. Вместе с группой переводчиков работал над переводом Корана на русский язык. Полагаю, что это была очень сложная работа — четырнадцать веков текст Корана сохраняется таким, каким был записан. Всего за сорокалетний творческий путь Равиль Бухараев издал более сорока книг — поэзии, прозы и научных исследований, — которые сыграли заметную роль в культурной жизни Татарстана.

Бухараев был интеллектуалом, беседа с ним заставляла думать о вещах высоких: общности истории, религий, смысле жизни, назначении литературы и поэта. Вот как отзывался о его творчестве Чингиз Айтматов: «Произведения Равиля Бухараева настолько значительны по смыслу и формам, что можно сказать с полным основанием и энтузиазмом: Равиль Бухараев — интеллектуальная гордость нации!»

В одном из интервью Равиль сказал: «Я уехал в Англию человеком отчаявшимся и разочарованным во всем. Мне было под сорок. Оглянулся на жизнь и увидел: Господи, работал-работал, а ради чего? Ради издания книг?! Все ушло в дым! В то время, когда вы не слышали обо мне, я и сам о себе не слышал...»

В этот период Равиль пришел к вере. Вера предков жила в нем генетически, но вошла в него, когда он стал переводить исламскую литературу на русский язык. Я никогда не спрашивала об этом, просто видела, что он стал другим, более уверенным, спокойным человеком, который живет в ладу с самим собой.

В дружбе, которую ценишь, не задаешь лишних вопросов. У меня было чувство, что Равиль был таким всегда...

Он никогда не был снобом, я знала его как очень внимательного друга, тактичного, мягкого товарища. До сих пор у меня щемит сердце, когда вспоминаю его привычку брать за руку спутника при переходе через улицу, на его взгляд, опасную.

Я впервые заметила это в Москве, когда мы с ним поехали в издательство «Молодая гвардия» и переходили трамвайные пути. Он делал это машинально, не придавая особого значения, но исходило это от его отношения к людям, от чувства ответственности в малом и большом.

Когда ушел из жизни их единственный сын Василий, я еле нашла в себе силы позвонить им. Трубку взял Равиль. Я, как бывает в таких случаях, произнесла какие-то затертыне слова соболезнования и сочувствия. Хотя, какие слова могут утешить родителей, когда они теряют сына в расцвете сил! Я сама всхлипнула и заплакала. Равиль тогда нашел силы утешить меня спокойным и рассудительным тоном... Я позже поняла, что всю боль этой невосполнимой утраты он вобрал в себя, жил с нею и ушел с нею.

Нам не велено душу царапать,
Потому что ещё не конец.
Мы поедем в Венецию плакать,
Неутешные мать и отец.

Там ветра ходят с моря на паперть,
Словно люди, лишённые тел.
Я опять возлюблю тебя насмерть
Там, куда ты никак не хотел.

Где витает, в забвении веса,
Сердцу ясная, но не уму,
Светловзорая тень василевса
В золотом византийском дыму.

.....
С этой болью, загинувшей втуне,
Как со спящим ребёнком в руках,
Словно ветер, уйду по лагуне,
Чтоб утратить себя в облаках.

И вернёт меня снова на паперть
Разве свет обручальных колец...
Мы поедем в Венецию плакать,
Твои вечные мать и отец.

Я гостила у них в Лондоне несколько раз. Видела, что новые возможности никак не отразились на Равиле, — он был прежним, порой молчаливым, порой разговорчивым. Беседы касались нашего общего тюркского начала, будущего России, а значит, и нашего будущего. Когда-то, еще в Москве, в 1985 году, в самом начале нашей дружбы, Равиль подарил мне свою книгу «Время цветов», на которой начертал: «Дорогой Наташе от дальнего татарско-турецкого родственника — на частую удачу!» И вот это наше родство было главным в нашем общении все годы. Я чувствовала в общении с ним не просто родственную поэтическую душу, а некое древнее, сильное тюркское единство...

Равиль быстро освоился в Англии, он прекрасно водил машину, вел сложные переговоры с издателями на английском. Он не выглядел чужим человеком в лондонской жизни.

Не раз Равиль с Лидой привечали мою дочь, которая выезжала в Лондон на языковые курсы. Равиль возил ее при надобности, они вместе с Лидой всячески опекали ее, угощали домашней едой, решали какие-то мелкие ее проблемы. Мне всегда было приятно думать, что в далеком и туманном Лондоне есть мои друзья, коллеги, которые помнят и любят меня...

Жизнь продолжалась. В последний раз мы встретились в Москве в конце сентября 2011 года. Они пригласили меня в частную галерею их друга Рустама Сулейманова в центре Москвы. Это было открытие галереи, куда в качестве почетных гостей пригласили Равиля и Лидию. Там были собраны старинные образцы татарского прикладного искусства. Равиль сразу познакомил меня с Сулеймановым и предложил ему поговорить со мной об издании якутских сказок в их издательстве. Оказалось, что Сулейманов — руководитель фонда «Марджани» — задумал серию, в которую входили бы сказки тюркских народов.

Вечер был замечательный, искренний, и Равиль на подъеме предложил: «Давайте поедемте в ЦДЛ. Посидим, поговорим». Мы с Лидой стали отнекиваться, потому что было уже поздновато и нам показалось, что мы достаточно пообщались. Меня ждала семья дочери с внуком, тогда они жили в Москве. А это была последняя встреча с Равилем и последняя возможность поговорить с ним... Нам всегда кажется, что жизнь бесконечна, что будет другой раз. Судьба не дала нам другого раза.

Я запомнила его таким, каким он был в этот последний вечер — оживленным, открытым, довольным. Он редко выглядел довольным, а самодовольным не был вообще. А тогда он был рад открытию галереи в самом центре Москвы, рад совместным издательским планам с Сулеймановым, рад встрече с тюркской сестрой и предвкушал праздник поэзии в Казани, где через несколько дней собирался отметить свое 60-летие.

Занозой в моем сердце сидит его фраза, сказанная в тот вечер: «Весь мир объехал, а до Якутии не доехал». Он всегда хотел приехать в Якутию, ему казалось, что именно здесь откроются сокровенные тайны взаимосвязи разрозненных тюркских народов, он так хотел увидеть наш край и зимой, и летом! Тогда мы стали обсуждать варианты их приезда к нам на следующий год, и через некоторое время после этого разговора я задумала международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега». Но его скоропостижная смерть в январе 2012 года в Лондоне разрушила наши планы...

Невыносима туга или нет,
не пропадут потуги.
В том, что ты неплохой поэт,
нет никакой заслуги.

Сколько породы ради руды,
как далека дорога...
От человека исходят труды.
Всё остальное — от Бога.

Когда я перечитываю эти строки, я словно слышу голос Равиля — негромкий, отстраненный...

Не напишу ничего, что прекраснее дерева.
Не начеркаю точней, чем лучистые ветки.
Времени было отмерено только до вечера.
Вечером лучше молчать или делать пометки.

Вечером лучше отречься от вечного сплина,
русской морочной хандры и татарской печали;
вечером лучше припомнить, как пахнет малина
в детской ладошке, вернее, как пахла вначале...

Вечером лучше зажечь — не свечу, так светильник:
щёлк выключателем, и темнота отступила...
Вечером лучше поставить на утро будильник:
дом недостроен, всё выше уходят стропила...

Друг мой, любовь моя, лучше молчать вечерами,
иначе мы не услышим, как дышит Василий:
я и забыл, что он вырос и больше не с нами,
слышу, как плачет, Господи Боже помилуй...

Вечер проходит в труде запоздалых радений.
Поздно, любимая, тьма подступает всё туже...
Только успеть бы нам вымолить сна без видений
да пробужденья без слёз, только б не было хуже...

Это стихи, посвященные Лиде, написанные в 1992 году. Тогда в их жизни все было благополучно, но откуда такая тоска, предчувствие беды? Настоящий поэт соткан из предчувствий, из переосмыслиния прошлого и мыслей о мимолетности настоящего... А Равиль Бухараев был настоящим поэтом.

В стихотворении «Когда вернусь в казанские снега» он предсказал свое возвращение.

Когда вернусь в казанские снега,
мы разглядим друг друга в свете Бога,
и я пойму, о чём была туга,
и я пойму, зачем была дорога...
Мой мальчик, потерпи ещё немножко,
пока вернусь в казанские снега...
Когда-нибудь, малыш, когда-нибудь
мы разглядим друг друга в свете Бога.
Всё было — горе, счастье и тревога...
В казанские снега ложится путь.

Он знал о своем последнем зимнем путешествии из Лондона в Казань. Лиде как-то приснился сон: похороны, зима, снег по колено. Мимо нее молча прошла вереница людей, они несли длинный белый сверток. И Лида спросила: «Куда идете? Кого хоронят?» Ей ответили: «В Казань спешим. Бухаюху хоронить...»

Лидия Николаевна за эти годы сделала и делает очень много для увековечения памяти Равиля Бухараева, для издания его произведений. Она, на мой взгляд, совершенно по-новому открывает некоторые грани его таланта, его произведений, дает возможность переосмыслить его литературное наследие... Это большой труд, не только составительский и организационный, а духовный труд, освещенный большой Любовью.

Равиль знал, что уйдет зимой, и хотел быть похороненным в Казани. И там он поконится — светловолосый, голубоглазый татарин, настоящий поэт и философ. Мой тюркский брат, мой друг Равиль Бухараев.

Мелитон Казиты

Письма боли

*История публикации романа,
ставшего классикой осетинской литературы*

В 1988 году, спустя пять лет после окончания работы над рукописью, в издательстве «Ирыстон» города Цхинвал Южной Осетии (тогда еще Юго-Осетинской АО) вышел роман Михала Булката «Седьмой поход Сослана Нарты» («Нарты Сосланы аевдаэм бали»). Через год роман был выпущен в переводе на русский Игоря Булката издательством «Советский писатель» тиражом 30 000 экземпляров.

Это роман-антиутопия, построенный на Нартовском эпосе. Он представляет собой попытку моделирования мира, в котором Время — инструмент, не только выстраивающий хронологию, но и определяющий нравственную оценку исторических событий и людских поступков. Извечные проблемы Добра и Зла представлены в нем на стыке мифологического и исторического сознания. Самый популярный персонаж Нартовского эпоса Сослан, чей образ сформировался в мифологии примерно в VIII веке до нашей эры, взаимодействует здесь с народным героем Осетии Черменом Тлаттаты, жившим на рубеже XVIII—XIX веков нашей эры. Разумеется, им сложно понять друг друга, но автор романа дает им право на ошибку, на вариативность поступков, связанную с их характерами, этикой и моделями поведения, свойственными эпохе каждого из них.

В современном мире — по мысли писателя — гораздо важнее, чем демонстрация силы и личных достижений, возможность задуматься о смысле жизни, единение и умение идти на компромисс во имя идеи. В этом контексте Сослан и Чермен — союзники. И они — в отличие, скажем, от Вергилия с Данте, которые тоже спустились в ад и являют читателю человеческие пороки, — пытаются изменить мир. Даром что законы жанра позволяют нивелировать, а порой и трансформировать события и их причинно-следственную связь. Непременным условием единения и сосуществования является отношение к смерти. Мир духов в романе тесно связан с миром живых, что, впрочем, не меняет системы нравственных ценностей, разве что смещаются табу. Сослан не раз при жизни спускался

Казиты Мелитон Резоевич — осетинский прозаик, поэт, драматург, переводчик и общественный деятель. Родился в 1948 году в селе Ногкау (Южная Осетия). Окончил Цхинвальский Педагогический институт (1971). В том же году в издательстве «Ир» вышла его первая книга «Зæлы зарæг» («Звучит песня»). Кандидат филологич. наук. С 1990 года — Председатель СП Южной Осетии, с 2013 года, после объединения союзов писателей Северной и Южной Осетии, — Сопредседатель Союза писателей Осетии. Живет в Цхинвале.

В основу публикации положена глава из монографии Мелитона Казиты «Летописец истории» (Цыкура — Цхинвал, 2019).

в загробный мир, опыта общения с духами ему не занимать, и отношение к добру и злу у него особое.

Действие разворачивается в загробном мире. Вождь далимонов (это черти в осетинской мифологии) хитроумный Дзацу вступает в сговор с Челахсартагом, еще одним персонажем Нартовского эпоса, который лелеет мечту о построении мира всеобщего блаженства. Кроме способности перевоплощения Дзацу обладает также даром суггестии, внушения, о чем благородно помалкивает. Он долго присматривается к Челахсартагу, который имел несчастье похитить жену Сослана, когда нарты ушли в очередной боевой поход, и запереть ее в башне своего отца Хыза. Узнав об этом, Сослан рассвирепел, хитростью выманил Челахсартага из крепости и снес мечом полголовы. Небесный кузнец Курдалагон залатал тому череп, но обида на нартов осталась в сердце Челахсартага навсегда.

Челахсартаг попадает в загробный мир Барастыра, откуда его похищает Дзацу и приводит в ад. Семь дней и семь ночей черти таскают его по закоулкам преисподней, демонстрируя ошалевшему Челахсартагу чистилище, дьявольскую мельницу, перемалывающую кости праведников, исполняют в его честь обряд жертвоприношения черного быка, наконец, приводят к молочному озеру и окунают в него. Челахсартаг мгновенно смекает, что молочное озеро — то самое средство подавления личности, которое он искал всю жизнь, инструмент для построения мира всеобщего счастья. Утвердившись в аду в качестве отца Дзацу (разумеется, это ему внушил сам Дзацу), Челахсартаг тут же приказывает благоустроить преисподнюю, назвав ее Третим Миром, самим же чертам велит немедленно изменить свой внешний вид, дабы те не отличались от людей и не пугали тех больше. Дзацу с Челахсартагом затеваюят грандиозное строительство города с фальшивым солнцем, просторными улицами и красивыми домами, с харчевней Дзаха, в которой вместо еды подают пустые тарелки, а вместо питья — пустые чаши, но хозяин (бывший конокрад и прелюбодея, так же обладающий даром внушения) уверяет гостей, что на столе изысканные яства, и все «едят» и «пьют».

Для полного подчинения мира они заманивают Хурзарин (в осетинской мифологии — Великая Мать Солнце), приковывают ко дну реки Марддон и приставляют к ней в качестве стражи ее приемного сына Батрадза, утратившего память благодаря чарам молочного озера. За Мать-Хурзарин бок о бок сражаются герои Нартовского эпоса, при жизни плохо ладившие между собой — братья Ахсар и Ахсартаг, Урызмаг, Хамыц, мудрая Сатана, Ацамаз, Сауай, — и в конце концов вызволяют ее из плена.

О насильственном «осчастливливании» человека написано немало. Роман Михала Булката — неожиданная, художественно убедительная попытка, опираясь на события и персонажей реальной истории и национальный фольклор, смоделировать универсальную методику подавления личности и манипуляции сознанием. Что весьма важно и для современного мира.

Можно спорить о достоинствах и недостатках романа. Но речь не об этом. Роман пролежал в сейфе у главного редактора издательства пять лет, хотя имелись положительные рецензии известных писателей и ученых. Роману был посвящен внеочередной пленум обкома Компартии Юго-Осетинской АО, на котором чиновники из Союза писателей Южной Осетии поливали его грязью. Объяснить это можно по-разному: и инерцией мышления, и тем, что ничего подобного до тех пор не появлялось в осетинской литературе, и элементарной безграмотностью редактора, и страхом.

Преодолеть препятствия на пути к публикации романа, просто пережить их по-человечески, стоило Михалу Булката немало душевных сил.

Но, пожалуй, еще большая сердечная боль — о судьбе родного народа. И приведенные ниже письма — свидетельство тому. Михал Булката, осетинский писатель, всю жизнь проживший в городе Самтредиа Западной Грузии, был изгнан оттуда во время грузино-осетинского конфликта. Зимой 1993 года умер от разрыва сердца в поселке Октябрьское Северной Осетии в чужом доме.

A.X.

Для писателя, хранящего в глубине души самые сокровенные мысли просто потому, что для них не настало еще время, а личный опыт подсказывает не торопиться с их обнародованием, эпистолярий — лучшее средство от сердечной боли. Да и письма он адресует только самым близким людям, которым доверяет как самому себе и от которых исподволь ждет слов поддержки. Возможно, ночами он поносит последними словами собственное малодушие. Но наступает утро, и вместе с первыми лучами солнца он со всей очевидность понимает, что выбор между истиной и осознанной необходимостью порой зависит от личных качеств, среди коих наивность и чистота — не самые последние аргументы.

Эти мысли, припорощенные заботами о хлебе насущном, о близких и родных, однажды взрываются, отбрасывая в сторону ошметки благородства и личной безопасности.

В свое время Нафи Джусойты¹, обращаясь к осетинским писателям, историкам, филологам, так отзывался об эпистолярном наследии Вассо Абаева²: «Письма — продолжение его научных изысканий, размышления о предметах и явлениях, волновавших его как историка и языковеда родного народа. Письма его — это еще и самые его истинные представления о людях, с которыми встречался, о явлениях культуры, с которыми знакомился, о фактах общественной жизни, которые волновали его беспокойную мысль и взыскательную совесть, рыцарски преданную справедливости в человеческом общежитии»³.

Раньше или позже содержание писательских писем становится достоянием общественности — в зависимости от уровня его таланта и общего вклада в национальную культуру, но в любом случае печать того, что высказанные в письмах сокровенные мысли не предназначались для публикации, придают им особенную трогательность и прозорливость.

В этом смысле эпистолярное наследие Михала Булкаты вполне может быть подтверждением его писательского мастерства. Несмотря на эмоциональность и открытость писем, свидетельствующие о том, что в ближайшее время он точно не надеялся увидеть их опубликованными, — стилистически и концептуально они являются продолжением его прозаических произведений. Поэтому мне кажется правильным, чтобы читатели ознакомились с этими письмами. Часть из них была уничтожена в период войны 1989—2008 гг., когда после ракетных обстрелов со стороны Грузии дважды горела моя цхинвальская квартира, а дача в Верхнем Отреве Южной Осетии, где хранился личный архив, была разрушена и расташена по камню, но часть писем у меня, слава Богу, сохранилась.

Письма Михала Булкаты разнообразны по содержанию и по стилистике, и публикация их в хронологическом порядке продиктована исключительно желанием сохранить целостность и внутреннюю логику.

Прошу извинения у читателей за то, что по известным причинам пришлось изменить имена и фамилии иных персонажей. К сожалению, таковы законы нашего времени. Да и не хочется огорчать родственников этих людей — ведь они ни в чем не виноваты.

Январь, 1985 г.

Здравствуй, Мелитон!

Простите меня за то, что задержал вам «командировочные». А за сборник произведений молодых писателей — огромное спасибо.

Что касается моего романа⁴, то нам с тобой необходимо решить один вопрос: то, что упоминаемый в тексте город «Дур-Чыры», которым горячо клянутся персонажи, это нынешний Чуфут-Кале⁵, следует как-то пояснить читателям. Название ему дали

Культурный слой

Анатолий Цирульников

Из тайных архивов русской школы

История образования в портретах и документах

Новая книга нашего давнего автора, академика Российской академии образования Анатолия Цирульникова «Из тайных архивов русской школы. История образования в портретах и документах» охватывает несколько столетий (от XV—XVI веков до нашего времени), основана на редких архивных материалах и посвящена интересной и противоречивой судьбе педагога и педагогики в отечественной истории. Мы предлагаем вниманию фрагмент из нее, в котором судьбы российского образования увлекательно и оструумно прослеживаются через портреты сменявшихся на протяжении веков министров ведомства просвещения¹.

Министр, который никому не нужен

За два века в ведомстве российского просвещения сменилось без малого пятьдесят министров. Переполненный школьный класс. Мужской гимназии... Сколько их было в старые времена, сколько в новые — не так важно, если считать, что это одна история. Совершенно, надо сказать, малоизученная. Кто, например, знает, какое количество министров приходится на разные царствования? Оказывается, одно и то же. Выбивается из этого ряда только Николай II, у него министров просвещения было втрое больше, чем у предшественников, но это не помогло. Много их сменилось и при Иосифе I (по другим причинам).

Обозрение галереи министров народного просвещения имеет известный интерес. Каков обобщенный портрет? В чем наблюдалось сходство и в чем различие? Чего они хотели, что делали? И что получалось? Кому это нужно? Какая от них польза? Какое это вообще имеет значение? Может быть, никакого. Но интересно...

Цирульников Анатолий Маркович — ученый и писатель, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального института развития образования РАНХиГС и страстный путешественник. Много лет его очерки в «ДН» позволяли нашим читателям странствовать по самым отдаленным уголкам России.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 2.

¹ Книга готовится к печати в Издательском доме «Дело» Президентской Академии (РАНХиГС).

Кто они и откуда?

Большинство дворяне. Из семей писателей, дипломатов, полководцев, государственных деятелей. Свою родословную знали до двенадцатого колена. По национальности русские, малороссы, немцы, выходцы из Лифляндии и Бессарабии, армяне...

Образование — соответственно эпохе. Владели четырьмя-пятью, а некоторые и большим числом языков.

Профессора, члены всяческих академий и всемирно известных ученых обществ (Геттингенское общество наук, французская Академия надписей и словесности).

Имели ученые труды. Писали поэмы, драмы...

Некоторые поправки в этот обобщенный портрет вносит позднейшая эпоха. У одного очень хорошего министра образование имелось неплохое — гимназическое. У другого еще лучше — высшие курсы красных комиссаров. У третьего (казалось бы, кто его сейчас помнит, а вот помнят, служил такой, говорят, на коллегии кричал: «Что вы тут сидите, в носу ковыряете?!») образование считалось высшим. «Образование у него высшее, — шутили в Наркомпросе времен Крупской, — но нет среднего и низшего». У последующих министров образование, как у всех, среднее...

Как правило, они были из гуманитариев. Филологи. Историки. Юристы. Но встречались и горные инженеры. Даже химики.

Прежде чем стать министрами, вращались в учебных сферах, как-то соприкасались с ними. Служили попечителями, товарищами (заместителями) министров, директорами департаментов. Двигались по служебной лестнице потихоньку, шаг за шагом, и вот в одно прекрасное утро... Впрочем, необязательно. Министром просвещения могли назначить какого-нибудь генерала или адмирала для проведения радикальной реформы школы. Попадались и из мирных ведомств...

Но все же данный тип карьеры скорее исключение, чем правило. Наблюдая за министром, задним числом можно разглядеть в его аппарате (среди товарищей, попечителей и т.д.) одного из будущих преемников. Это касается и современных министров. Их преемники где-то рядом, в ближайшем (или чуть подальше) окружении. Мой старый знакомый из этого ведомства даже допытывался: «Раз ты все знаешь, кто будет следующий?»

Конечно, знаю. Но стоит ли вмешиваться в историю?

Сменяемость министров в этой истории имеет явную закономерность (о ней позже). Труднее предсказать срок — точное число дней, месяцев, лет, которые министр находится на посту. В среднем четыре-пять лет. Но уходили и раньше. И удерживались гораздо дольше. Дольше всех министров (шестнадцать лет) пробыл на своем посту граф Уваров, современник Пушкина. На два года меньше — министр Данилов, наш современник.

Чего они хотели? Что делали?

Будем исходить из того, что все хотели хорошего. Славы (для Отечества), всеобщих успехов просвещения, возвышения человеческого духа. Одни выражали это так, другие — иначе, суть не в словах. Бывший министр, некогда широко известный в кругах учительства нелюбовью к «новомодным методам обучения», заметил про

своего преемника, вроде бы антипода: «У него свой запас лексики, у меня свой. А то, что видишь по действиям, — преемственность...»

Конечно, если судить по пьесе, в которой они участвуют, действие в ней одно и то же. Изо дня в день, из века в век. Служебная карета, зеленое сукно. Дел уйма. Так, бывает, закрутятся, что все перепутают.

«Я все перепутал, — пишет министр в записке своему товарищу полтораста лет назад, — вообразил себе, что сегодня понедельник, а оказывается, что завтра суббота».

Чем же они так заняты? А выбиваются для своего ведомства бюджет из государственного казначейства. В русской истории не найти таких времен, чтобы в этом казначействе денег было — как кур нещипаных. Вечно недоставало. Всегда делили. И успех дела определялся не столько высшими соображениями, сколько конкретными лицами — государем или министром финансов. От того, в каких личных отношениях находился с ними министр просвещения, каковы были его вес и авторитет в высших сферах, и зависело материальное состояние народного просвещения.

Один из лучших, по-моему, министров — Александр Васильевич Головнин — в своих рукописных записках «Для немногих» так описывает эту приватную ситуацию: «В то время (начало 60-х годов XIX в. — А.Ц.) от... личного взгляда министра финансов зависело весьма многое. Он мог, например, получать в один день просьбу трех министров об отпуске равной суммы... на три разных предмета, и от него зависело отвечать в тот же день одному, что согласен... другому — что по стесенненному положению Государственного казначейства... может отпустить только половину... и третьему — что по крайне расстроенному положению государственных финансов он находит совершенно невозможным согласиться на предполагаемый расход. Головнин (говорит о себе министр просвещения. — А.Ц.) был всегда, конечно, в последнем разряде».

А почему? Только ли дело в том, что этот министр смотрел на жизнь иначе, чем другие, и из-за этого ему отказывали в открытии школ, в пособии учителям? Нет, не только. Вообще, замечал он, «положение министра просвещения совсем особенное. В нем никто не нуждается. Никому он не может быть полезен и нужен». И объяснял почему.

Одни министры располагают большим числом мест и должностей; от других зависит назначение денежных ссуд, значительных пособий, аренд, земель; управление третьих так специально, что вмешиваться и критиковать их весьма трудно; четвертые сами имеют прямой обязанностью надзирать и контролировать то, что у других происходит; наконец, подчиненные их состоят из людей взрослых и опытных... Поэтому, рассуждал он, всех других министров более или менее опасаются, их щадят, с ними желают сойтись поближе, а чего опасаться министра народного просвещения, что от него можно взять? (Справедливости ради признаем, что при этом министре правительственные расходы на образование все же выросли вдвое, опередив по этой части все государства Европы.)

А сто лет спустя этот же вопрос решали так. Референт Совмина, помощник многих министров просвещения Валентина Александровна Стыцко рассказывает: «Лето 1947 года. В ведомствах готовят сметы, согласовывают с правительством. А в Наркомпросе переполох — нарком куда-то пропал. Вечером уехал домой, а утром телефон не отвечает. Может, на даче? У учителей летние каникулы. Дом отдыха, чебуречные, сидят под тентом на берегу озера Рица. И вдруг катер, и выходит на берег в белом сам... Сталин. За ним помощник Поскрёбышев, кругом охрана. Одна учительница по фамилии Померанцева не растерялась и прямо к вождю: "Иосиф

Подробное чтение

Елена Сафонова

Каждый читает свой литпроцесс

Александр ЧАНЦЕВ. Ижицы на сюртуке из снов: книжная пятилетка. — СПб.: Алетейя, 2020.

Ольга Балла. Пойманный свет: Смыловые практики в книгах и текстах начала столетия. — Б.м.: Издательские решения, 2020. (Литературное бюро Натальи Рубановой).

Гилберт Кийт Честертон устами патера Брауна говорил: «Каждый читает свою Библию». Разовью тезис: каждый критик «читает» и описывает свой литпроцесс и видит внутри него собственные иерархии и смыслы.

Недавно я рецензировала книгу критических эссе Михаила Хлебникова «Большая чи(с)тка» («Лимбус Пресс», 2021). Она освещала в основном имена и тексты современного книжного мейнстрима.

Сборники работ Александра Чанцева «Ижицы на сюртуке из снов: книжная пятилетка» и Ольги Баллы «Пойманный свет: Смыловые практики в книгах и текстах начала столетия» представляют другие портреты литпроцесса — и не его одного. Не только синхронность выхода роднит эти книги. И не только то, что и Ольга Балла, и Александр Чанцев — авторитетные фигуры текущей литературы. Оба — лауреаты в критической номинации премии журнала «Новый мир» (Балла в 2010 году, Чанцев — в 2011-м). Балла удостоилась вновь созданной всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» в первый же год ее учреждения — 2019-й, а Чанцев трижды был шортлистером премии. Но не награды единые создают этим критикам репутацию экспертов, которым можно доверять.

Александр Чанцев и Ольга Балла не раз писали друг о друге. Балле принадлежит одна из первых рецензий на книгу Чанцева 2011 года «Литература 2.0: статьи о книгах» и речь на вручении ему премии Андрея Белого. Чанцев в долгую не оставался. Летом 2021 года он отозвался на книгу Баллы «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага» — сборник рецензий, весьма похожий на «Пойманный свет». «А кто опять же из наших активно пишущих критиков отзывается о таком широком спектре, как научные монографии и стихи, журналы и романы, специальные исследования и бестселлеры, сборники критиков и авангардные, пороговые вещи?» — говорит Чанцев о «Библионавтике», соединяя характеристику книги с оценкой ее автора в почти любовном признании: «Ведь есть у нас критики и более медийно востребованные, и, возможно, более энциклопедически образованные, и более продуктивные... но — как написать так, как Балла?» Уместно вспомнить и то, что говорила Балла о «Литературе 2.0»: «Жанр сборника... хороши... тем, что тексты, появившиеся в разных местах по разным поводам, будучи сведены вместе, оборачиваются задачей на усмотрение объединяющей их цельности». Эта задача актуальна и для «Ижиц...».

Но такого, чтобы об этих двоих говорили в одной рецензии, кажется, еще не было. Возможна ли некая «объединяющая цельность» в двух «пазлах», собранных мастерами критики? Ответим, рассмотрев книги порознь.

В книгу Чанцева «Ижицы на сюртуке из снов...» вошли тексты, опубликованные в пятилетку с 2015-го по 2020 год. Книга свидетельствует о продуктивности автора: в печатной версии более семисот страниц и более десятка мегатем.

«Ижицы...» — типичная для Чанцева книга: сборник. Издание 2011 года «Литература 2.0: статьи о книгах» уже упоминала. В 2018 году у писателя вышел сборник рассказов «Жёлтый Ангус», разделенный на «японскую» и «русскую» части. А в «Ижицах...» есть интервью Чанцева Дмитрию Дейчу о сборнике 2015 года «Когда рыбы встречают птиц: книги, люди, кино». Я его не читала, но из интервью поняла, что он построен по тому же принципу, что «Ижицы...», — эссе, литературная критика, статьи о кино и музыке, беседы с писателями, учеными, журналистами и музыкантами, — только с отчетливым японским уклоном. Дейч говорит: «Читая эту книгу, трудно отделаться от ощущения, что в руках у тебя — энциклопедия, а не сборник статей, написанных по слуху». От такого же ощущения нельзя отделаться, читая новую книгу Чанцева. Да и формулировка: «статьи, написанные по слуху» — несколько раз встретится в пестроткани сборника — именно так критик характеризует второе издание книги философа Владимира Бибихина «Другое начало» 2017 года. «По сути, книга — сборник статей... рецензий, даже выступлений на симпозиумах и ответов на опрос «Искусства кино», то есть текстов как бы по слуху. Потрясающе уже то, что подобное издание... читается как самостоятельная цельная книга с очень ярким и острым даже высказыванием», — формулирует Чанцев. Этот отзыв можно «отзеркалить» на «Ижицы...». Сознательно или бессознательно критик реагирует на книги авторов, совпадающих с ним в мыслях или стратегиях; они ему искренне интересны, что чувствуется по текстам — не отстраненным, а эмоциональным (хотя научной беспристрастностью он прекрасно владеет).

В этом же интервью всплывает один из ключевых образов предыдущей книги — «пуговица на бедном сюртуке». Там речь идет о визуальной японской культуре. Но эта пуговица «пристегивает» «Ижицы на сюртуке из снов...» к ранним книгам автора, а русскую и европейскую культуру — к японской (что логично в парадигме Чанцева). Не забудем, что Александр Чанцев прежде всего — литературовед-японист и культуролог, кандидат филологических наук. Ольга Балла в рецензии на сборник «Когда рыбы встречают птиц...» перечисляет по убывающей: «По своей формальной культурной нише Чанцев — литературовед-японист, писатель, критик». Сам он о своей роли и месте в современной критике говорит скромно: «Правда, и критик я относительный, только на выходную ставку (в остальное и основное время — офис и другая специальность)» («BITCHES BREW. Рефлексия о критике для журнала "Литература"»). Знакомым с постоянными критическими выступлениями Чанцева эта реплика покажется кокетством. Но в авторской самоидентификации, видимо, ученый стоит впереди критика, а сама ликвидика предстает занятием безнадежным («дело обреченнее некуда»). Еще одно характерное высказывание: «Блогерам мы, традиционные критики, уже проиграли» — оно же заглавие интервью британскому Pulse UK. Впрочем, в интервью Чанцев развивает тезис: «Меняются форматы и сами «средства производства»: бумага сдается цифре, текст проигрывает изображению. ...но наша культура (говорю о западной, на Востоке отчасти иначе) не перестала быть логоцентричной, смысл продолжает производиться словом. И смена этой парадигмы придет не с блогерами, но с инопланетянами». И все же на критику Чанцев смотрит «погребально», в отличие от культурологии. Возникает соблазн воспринять «Ижицы...» как сборник культурологических эссе, но это не так, хотя культурология и правит бал. Ведь большая половина рассмотренных книг не худлит — нон-фикшн, тематические сборники и научно-популярные издания, получившие не столько критику, сколько экспертные оценки.

В новой книге Чанцева семь объемнейших глав. Их названия и содержание: «Перечитывание» (эссе о прочитанных книгах и писателях); «Переводное» (рецензии на современные иностранные тексты), «Отечественное» (рецензии на российские издания); «На языках» (отзывы на русском языке на книги, созданные на иностранных

языках и прочитанные критиком в оригинале); «Музыка» (музыканты, коллективы, композиции); «Беседы» (интервью, взятые Чанцевым); «Ответы» (интервью, взятые у Чанцева). В книге более 170 материалов. С первого взгляда это богатство не выстраивается в стройную схему. Пытаясь найти в нем «объединяющую цельность», я нашупала единственную концепцию, универсальную для всех книг Чанцева: всеохватность. Торжество всеединства, взывающего к учению Вс.Соловьева. Это слово встречается и у Чанцева: «Принцип всеединого музея» называется его рецензия на книгу Бориса Грайса «Русский космизм. Антология» (2015 год). И в эссе «На краю другой ночи. Немного алхимическое Владимира Казакова» о незаслуженно забытом советском/несоветском прозаике Чанцев пишет словно бы о своих «Ижицах...»: «Так, кстати, и в этой книге, которая по сути — возможность нескольких книг. Роман "Жизнь прозы" — ведь, вполне возможно, и не роман. А что-то новое, нездешнее, вызывающее иноземное — как французский новый роман, какие-то постсюрреалистические опыты, что толком переводить начали у нас только сейчас...» Да, новый сборник Чанцева — возможность нескольких книг — автобиографически-дневниковой, культурологической, исторической и критической. За открытие мне прозы Владимира Казакова и его «(не)биографии» Чанцеву сердечное спасибо.

Широк Александр Чанцев, вот бы сузить!.. «Сузить» глобальное мышление писателя и полярную направленность не в наших силах, да и незачем. Но рецензент волей-неволей «сузит» автора, ибо написать рецензию на всеединство нереально, придется выбирать важнейшую тему. Самая простая и логичная — отражение текущего российского литпроцесса. Исключу из рецензии большую часть переводов и зарубежной литературы, не имеющей прямого отношения к российскому литпроцессу и нашим «иерархиям», к выстраиванию которых тяготеет любой критический срез. Музыку — тоже (хотя автор частенько говорит о литературе с музыкальными аллюзиями).

Чисто критические страницы сборника — еще один знак «всеохватности» Чанцева. Для него нет запретных тем, жанров и имен. Наряду с трудами о художниках и биографиями философов он анализирует «свинцовье мерзости жизни». В «Переводном» бросается в глаза парная рецензия «Алгоритм маньяка» на две книги издательского союза «Рипол классик» и «Пальмиры»: Ричарда Ллойда Пэрри «Пожиратели тьмы: Токийский кошмар» (перевод Е.Габитаевой) и Михаила Кривича и Ольgerда Ольгина «Товарищ Чикатило». Книга про убийство молодой англичанки в Японии дает Чанцеву повод проговорить, как закрытость японского общества от «рыжебородых дьяволов-гайдзинов», свойственная не только уголовному праву, но и политике, и МЧС мешала расследованию. Русская книга пугает: «И если про токийского злодея читать было страшно, то тут — буквально до кошмаров». Связь парадоксальна: «Авторы... упоминают, что японцы вроде бы хотели купить Чикатило для опытов, изучить алгоритмы и паттерны маньяка. Развивая эту конспирологическую версию — тогда в Токио не было бы зариновых атак и Люси была бы жива?»

Не странно ли для энциклопедически образованного человека такое внимание к темным сторонам бытия?.. Однако в амплуа книжного рецензента Чанцев не стоит на позициях элитарности. Это видно из его характеристик в том же интервью Pulse UK. Отвечая на вопрос «о героях и стиле века нынешнего», Чанцев пессимистичен: «Пока все довольно аутично... Взять аэропортные бестселлеры — Мураками, Уэльбек, Бегбедер, Коэльо. ...Индивид погружен в свой быт, фобии, которые он в лучшем случае проецирует на происходящее вокруг — или даже не проецирует». Для современных наших интеллектуалов эти имена — модное чтение, демонстрация своей незаурядности, для Чанцева — «аэропортные бестселлеры»!.. Эти иностранцы ужеочно вошли в наш литературный обиход и вряд ли отделимы от российского литпроцесса (издательского уж точно).

Промежуточным звеном между литературой переводной и «автохтонной» служит «литература соседних стран, постсоветского ареала», которая: «Все интереснее, витальнее, даже показательнее становится и пребывает», — на примерах приводимых Чанцевым имен: Л.Элтанг и А.Иванов, А.Нikitин и С.Жадан, М.Петросян и Н.Абгарян,

М.Гиголашвили и З.Бурчуладзе, Ферганская школа Ш.Абдуллаева, Х.Закирова, Д.Кислова и других, Ташкентская С.Янышева, Е.Абдуллаева (он же С.Афлатуни) и В.Муратханова, живший в Таджикистане автор «Заххока» В.Медведев...

В разговоре с Натальей Рубановой («От такой литературы вряд ли должно быть уютно») Чанцев выстраивает собственный рейтинг внутри отечественного литературного поля, отвечая на просьбу назвать авторов, кого можно «рекомендовать как “узкому”, так и “широкому” читателю»: «Чей калибр подходит одинаково для тесных и широких врат — Виктор Пелевин (он чем злее с возрастом, тем правдивее и чище), Алексей Иванов, Андрей Рубанов, Андрей Иванов, Шамиль Идиатуллин, их читаешь с pleasure и не guilty даже». Этих авторов большинство воспринимает как мейнстримных. Но Чанцев их «любит не за это» — а за то, что они оказались в топе благодаря художественным качествам прозы.

Список рецензируемых критиком авторов тоже «скан» его личной книжной иерархии. У Чанцева в «Ижицах...» он демократичен. Авангардизм Андрея Бычкова, постмодернистские романы Дмитрия Быкова «Июнь» и Бориса Клетинича «Моё частное бессмертие», публицистика Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» и книги Александра Иличевского мирно соседствуют здесь между собой и с социологом Борисом Дубиным, и с радикалом Эдуардом Лимоновым, и с критикой Ольги Баллы, и с травелогом Александра Стесина «Африканская книга», и с жутким романом Владимира Данихнова «Тварь размером с колесо обозрения» (исповедь больного раком с фантастическими элементами). И с именами, гораздо менее известными массам, — с таким толстожурнальным автором как Максим Гуреев, например. Здесь налицо не конкуренция авторов в глазах критика, а целостное восприятие литпроцесса как множества имен, каждое из которых самоценно. Достоинства и недостатки книг не имеют основополагающего значения, что доказывает рецензия Чанцева на последний роман фандорианы «Не прощаюсь». Критик рассматривает его в равновесии «за» и «против» и не спешит пригвождать как масслит. «Новый... заключительный роман фандоринской серии лучше всего было бы описать словом “халтура”. Но халтура... весьма любопытная. ...«Не прощаюсь» — это... размышления самого автора “о судьбах Родины”. И отслеживать их — едва ли не интереснее, чем перипетии детективного сюжета». Чанцев сравнивает «Не прощаюсь» с «Зимней дорогой» Леонида Юзефовича: обе они о том, что «нет... правых и виноватых. Есть достойные и недостойные люди по обе стороны баррикад и линий боя».

Мне было радостно встретить в разделе «Перечитывание» статью «Несбё и все-все-все» о феномене скандинавского детектива, на фоне которого он уверенно выделяет Ю Несбё и его героя Харри Холе. Эту пару я и нежно люблю. «Ю Несбё... изначально выламывается из моды — и делает это настолько красиво и мощно, что уже диктует ее сам». «...Книги о Харри — детектив прекрасный, overdrive... Но это больше, чем детектив, и отнюдь не меньше, чем просто литература». Рассуждения о том, что будет со скандинавским детективом, когда его покинет Харри Холе, Чанцев завершает списком фамилий «младоскандинавов», среди коих «хороших авторов много»: Лиза Марклунд, Пер Вале и Хокан Нессер, Арнальд Индридасон, Юсси Адлер Олсен, Гунар Столесен, Леена Лехтолайнен, — и решительным выводом: «Они хороши, конечно. Конечно, мы ждем нового Несбё». Это даже не смелая попытка реабилитации «низкого жанра» детектива, а констатация факта, что один детектив является литературой, а другой — нет, как и любой роман любого жанра. «Гимн» Ю Несбё укрепил меня в ощущении того, что на сегодня Чанцев выделяет в потоке художественной прозы романы, которые выстраивают действие. Я тоже их предпочитаю. Такое «единомышленничество» приятно.

Сборник Ольги Баллы «Пойманный свет. Смыловые практики в книгах и текстах начала столетия» похож на сборник Чанцева в целом, но отличен в важных частностях. Первое отличие — книга Баллы аккумулирует рецензии и статьи за

двадцать лет, а Чанцев ограничивается пятью годами. В книге Баллы тоже семь глав, как и у Чанцева. Дальше цифры не совпадут. У Баллы в каждой главе по 7 текстов (число 7 выбрано за мистичность) — итого 49. Материалы в ее сборнике единого формата — рецензии или статьи о книгах, реже — об авторах. В книге много материалов персональной рубрики Баллы в журнале «Дружба народов», что, по-видимому, определило ее формат. Тут нет вольностей вроде интервью или эссе. Единственное отступление — врезы к подборкам тематических рецензий в «Дружбе народов» (они приводятся дважды). Врезы по конструкции соответствуют проблемным критическим статьям в миниатюре. Так что чанцевская всеохватность «зеркалится» у Баллы гигантскими временными рамками, но суживается жанровым малообразием.

Сборник только из рецензий, на мой взгляд, уязвим «сиюминутностью», но Балла так не считает. Возможно, ее труд призван окончательно ввести в литературный оборот ряд книг и явлений. Это реально, если речь идет не о литературной моде. Сборник Баллы точно соответствует подзаголовку: высвечивает смысловые практики начала века — и ради этого продумана его структура.

«В книге литературного критика и эссеиста Ольги Балла... избраны из труднообозримого обилия некоторые тексты о литературе... Отражает это всё не столько объективные черты литературного и книгоиздательского процесса как таковых (автор подозревает, что в своем целом они необозримы, а в объективности есть что-то человеческое), сколько собственные вопросы автора, с которыми тот обращался к попадавшим в поле его зрения текстам, в свете которых они прочитывались», — гласит предисловие с типичной для Балла личностной иронией.

Балла изобрела свою форму построения книги (не потому ли, что рецензии быстро устаревают?..): «Распределено это всё... по направлениям внимания: как самих авторов обозреваемых книг и текстов, так и его собственного, читательского внимания и интереса. Такие направления... предшествуют жанровым делениям, поэтому в каждой из получившихся в результате глав-частей проза соседствует с поэзией и обе они — с нон-фикшн...» Количество все же доминирует нон-фикшн, отчего полной презентативности липтпроцесса у Балла нет, скорее, это путеводитель по миру научной, научно-популярной и высоколобой художественной литературы. Под лупу критика попадали настоящие «смысловые практики» — изводы интеллектуальной и документальной литературы, среди них много изданий НЛО.

«Направления внимания» Балла поясняет читателю еще в одном предисловии: «Предуведомительные бормотания автора». Они делятся по главам, но не всегда так отчетливо дифференцируются по смыслу.

Глава «Обживая пространства» — о человеке в пространстве; «Сопротивляясь истории» — о большой истории и об отношениях человека со временем. Глава «Изъясняя неизъяснимое» вначале задумывалась как раздел о поэзии, но расширилась, когда в ходе сабирания текстов выяснилось, «что уловлением неизъяснимого занимается не только поэзия». Глава «Изумляясь человеку» — тексты о детстве и об окружающей среде. «Соединяя разорванное, пересекая границы» — о пересечении границ в широком понимании. «Упорствуя в смысле» — тексты о поиске смысла существования. Наконец, глава «Собирая рассеянное» — едва ли не концептуально важнейшая в сборнике: «О том, как между явлениями... которые и не подозревали о своем родстве, обнаруживается — или создается — связь и цельность». Здесь же Балла называет всякий написанный текст смысловой и эмоциональной биографией его автора, и это важное уточнение.

В некоторых рецензиях Балла, как и у Чанцева, встречаются пассажи, легко обратимые на ее собственные тексты. В рецензии на антологию «”Рим совпал с представлением о Риме...”»: Италия в зеркале стипендиатов Фонда памяти Иосифа Бродского» (НЛО, 2010, составитель Клаудия Скандура) звучит как похвала: «Самое худшее и бесплодное, что здесь могло бы быть сделано — это трепетное благоговение, архивариусов буквализм, музейное педантство. Оттого-то наши авторы по этому пути и не пошли. Не получилось, слава Богу, ни школяства, ни начетничества, ни... отчета

как жанра. Получилась живая жизнь». Так и книга Балла написана, несмотря на серьезный круг чтения, живо, не академично, со словесным кокетством и ведением диалога то с читателем, а то с кем-то третьим, за кадром. В этом же тексте («(Пере) сотворение Рима: символическое наследство и работа освобождения») Балла делает программное заявление: «Россия... такая странная страна, которая едва ли не полнее всего осознает себя через "свое чужое", через далекое и не вполне доступное, но именно нам адресованное к проживанию... Почвенничество, по меньшей мере в нашем отечестве, еще никогда никуда, кроме глухих дремотных тупиков, не заводило. Тоска по Италии для нас — не просто устойчивый культурный топос... Недаром в глазах одного из законодателей русского чувства Италии, Мандельштама, она была страной, в которой "больше неба", а ее "яснеющие в Тоскане" холмы он называл "всечеловеческими"». Если это запрос Балла к литпроцессу, то он состоит из книг, ориентированных на глобализм (не «на западную культуру»). И ее интересуют созвучные с нею авторы. Отчего и проявляется гигантская панорама нон-фикшна, раздвигающего границы жанра.

А вот что Ольга Балла говорит о Денисе Осокине («Огородные пугала с ноября по март»): «Если бы было твердо известно, где, собственно, проходят границы литературы (но они, подобно границам осокинских миров, проницают, подвижны, теряются во мраке), можно было бы отважиться сказать, что это — не вполне литература. Написание таких текстов... по сути, магическая практика. Да и чтение — по крайней мере, отчасти — тоже». Разве это не о текстах Балла? Да и не обо всей критике?..

Опорные фигуры литпроцесса Балла — те, к кому обращены несколько рецензий: литовский поэт и переводчик Томас Венцлова и его переводчик поэт Георгий Ефремов и россиянин Дмитрий Бавильский. В прихотливой структуре книги эти авторы рассматриваются то как творцы, то как объекты биографий или исследований; весь сборник предстает образчиком «связи и цельности», сложной, как головоломка, но безусловной. Не менее важны Балла картины мира, создаваемые авторами, упомянутыми единожды: хорватом Миленко Ерговичем, испанцем Хуаном Гойтисоло, немцем Вальтером Беньямином, венгеркой Ильмой Ракузой, «шведской чешкой» Катериной Яноух и другими деятелями литературного интернационала. Не все писатели из книги известны широкому читателю, оттого просветительское значение сборника высоко.

Есть трогательный пример открытия имени поэта из Крыма Михаила Лаптева (1960—1994). Критик придала резонанс стихам, которые не на слуху. «...Лаптев — поэт исключительно мощный — до сих пор очень мало известен. Даже при том, что его стихи были включены в антологии "Строфы века" и "Самиздат века"...он не то что еще не оценен по-настоящему, не осмыслен литературоведчески — он практически не прочитан», — пишет Балла. По ее словам, Михаила Лаптева в последние годы избирательно публиковали «Юность», «Новый мир», «Дружба народов», газета «Гуманитарный фонд»; также его блог в ЖЖ ведут другие люди (у блога 47 подписчиков). Сборников его известно два: «Корни огня: Стихи 1987—1994 годов» и «Тяжёлая слепая птица» (М.: Крымский клуб, 2012). О второй книге Балла и ведет речь. Она ей интересна как первая книга крымской серии «Зоософия», «посвященной... рефлексии о культурных смыслах и образах животных». По мне, книга интересна прежде всего как яркая поэзия:

Тяжёлая слепая птица
назад в язычество летит,
и мир асфальтовый ей снится,
и Гегель, набранный в петит.
Молчанье жирное зевает.
Она летит, в себе храня
густую память каравая
и корни чёрные огня...

Мощным стихам сопутствует подробный и вдумчивый их анализ, где автор и рецензент стоят друг друга. Другие поэты, значимые для Балла, — Алексей Парщиков, Лев Оборин, Геннадий Каневский, Андрей Тавров как прозаик, Ян Каплинский (русскоязычные стихи), Григорий Кружков — здесь как автор эссе об У.Б.Йейтсе — и Ольга Седакова. Ей единственной посвящен не отклик на книгу, а очерк к юбилею: «Седакова — из тех, кто возвращает слову его метафизический статус, осуществляя этот статус в своей поэтической практике, дает его пережить как чувственное событие».

Если искусственно сузить дискурс Балла до художественной составляющей текущего российского литпроцесса, выпадет узкий круг имен и названий. Бавильского и Осокина уже «посчитали». Алексей Макушинский фигурирует в сборнике как автор романа в очень вольном стиле «Предместья мысли: философическая прогулка». Роман «Орбинавты» русско-израильского автора Марка Далета. Сухбат Афлатуни — «Поклонение волхвов».

Александр Ярин «Жизнь Алексея: Диалоги» — житие в диалогах раннехристианского святого «по мотивам» легенды об Алексии, человеке Божием. Эпистолярный роман Марины Москвиной и Юлии Говоровой «Ты, главное, пиши о любви». «Ода радости» Валерии Пустовой в дефиниции «роман без берегов». Сборник эссе Дмитрия Воденникова «Сны о Чуне». Роман Виктора Мартиновича «Ночь» — писатель гражданин Беларуси, но Балла ищет в российской прозе параллели с его антиутопией и находит Дмитрия Глуховского («Метро»), Эдуарда Веркина («Остров Сахалин»), Яну Вагнер («Вонгозеро») — со ссылкой на Галину Юзефович, кстати, героиню одной из рецензий Балла с книгой «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе».

Наиболее полный портрет феномена современной русской прозы Балла дает в заключительной части сборника, в проблемной статье «Время без надежд и иллюзий» об итогах литературных нулевых. Критик верна себе: для нее первичны «явления, в которых словесное искусство так или иначе... выходит за свои прежние пределы и вообще — за пределы освоенного». Это прежде всего «нормализация», даже рутинизация сетевой формы существования литературы. А среди персонажей — это «неожиданные, нетиповые фигуры». К таковым Балла относит Михаила Эпштейна, Лену Элтанг, Андрея Лебедева (жителя Франции), покойного Александра Гольдштейна и Макса Фрай. Макс Фрай укладывается в глобалистскую парадигму: «он — при всей органичности своего еврейства ...мог бы осуществляться решительно где угодно, и в свой проект втягивает русских авторов, где бы те ни обитали, от России и той же Литвы до Израиля». Отдельных теплых слов удостоены «Проект ФРАМ» и «Вавилонский Голландец» — антология рассказов о корабле-библиотеке; о ней Балла пишет: «Это — самый настоящий роман в новеллах, во множестве сюжетных линий, параллельных друг другу, пересекающихся, выныривающих друг из-под друга». Авторы проекта: Алексей Карташов, Елена Боровицкая, Нина Хеймец, Елена Хаецкая, сам Макс Фрай и др.

А вот «топовые» авторы масслитта Акунин и Пелевин упомянуты только впроброс — в контексте рецензии на книгу Галины Юзефович. Замечу, что Чанцев в этом пункте демократичнее. Складывается впечатление, что облик текущей русской прозы для Баллы и для Юзефович разнится: первая взыскательно отбирает для рецензирования то, что рождает в ней эмоциональный отклик, вторая видит профессиональную обязанность. Однако Балла находит у себя и Юзефович главную точку соприосновения: «...Юзефович — один из не так уж многих наблюдателей современного культурного процесса, кто не разделяет “алармистских прогнозов о неизбежном упадке культуры”. Это редкая позиция. И к ней уже поэтому стоит прислушаться и присмотреться». Как с этим не согласиться?..

Чанцев пророчит близкую смерть традиционной критике. Балла ни разу не говорит о такой опасности. Характерно, что оба при этом продолжают работать в данном жанре, то есть опасение эфемерно. Это, пожалуй, главный объединяющий смысл сравнения двух панорам литпроцесса.

Литературный барометр

Евгений Абдулаев

Четвёртый сон Агафьи Тихоновны

Литература не умирает. Умирают, увы, литераторы. Но на их место приходят другие. И даже в большем количестве.

А *вокруг* литературы умирает многое.

Прежде всего — то, что служило связью между литературой и другими видами искусства, между литературой и социумом. То, что обеспечивало кровообращение между ними.

Истончается связь между современной литературой и театром. «Из данных около трехсот драматических театров России и ближнего зарубежья следует, что должность завлита сохранилась лишь примерно в 20—30% из них... Это означает, что связь театров с драматургами теперь осуществлять некому», — пишет в своем ФБ драматург Валентин Красногоров.

То же — в кинематографе. Одна-две экранизации современных авторов в год — по сравнению, скажем, с девятыю экранизациями в 1988 году¹. Мизерное количество дополняется мизерабельным качеством. «У нас нет экранизаций, есть продюсеризация», — утверждает главный редактор "Астрель-СПб" Александр Прокопьев. — Что касается сценариев — это ужасно»². Логично. Ушла эпоха, когда среди сценаристов были и драматурги, и прозаики. Брагинский, Горенштейн, Зорин, Мережко, Нагибин, Шукшин... Перечислять — не перечислишь. Много ли известных писателей последние лет двадцать «засветились» в сценаристах? Юрий Арабов. Андрей Иванов. Денис Осокин. И, похоже, всё.

Про современную литературу на телевидении просто не говорю. Не считая вкраплений на канале «Культура», отсутствует сам предмет для разговора. Как объяснил один телевизионный деятель: писатели слишком долго думают, прежде чем ответить на заданный ведущим вопрос. А эфирное время — сами понимаете... Понимаем. Видимо, поп-звезды думают быстрее.

Театр, кино, телевидение... Что дальше? Живопись; точнее — графика. Опять, простите, тянет на воспоминания. О замечательных иллюстрациях к прозе в прежней «Юности», в прежнем «Огоньке». О книжной серии «Дружбы народов», шестнадцать полосных иллюстраций в каждой книге.

Сегодня иллюстрация осталась только в литературе для детей и подростков. А что «взрослый» читатель? Ему она не требуется? Судя по нынешнему расцвету комиксов, «картинки» книге очень даже нужны. Но иллюстрации требуют дополнительных затрат, которые не обязательно окупятся. Результат: «Работа книжного иллюстратора,

¹Заметки, записки, посты // «Новая Юность», 2018, № 4 (URL: https://magazines.gorky.media/nov_yun/2018/4/zametki-zapiski-posty-2.html)

² Книжная лавка читателей // Сайт «Деловой Петербург», 18 июля 2019 г. (URL: https://www.dp.ru/a/2019/07/18/Knizhnaja_lavka_chitatelej)

в отличие, например, от работы рекламного — одна из самых малооплачиваемых (и при этом одна из самых трудозатратных) на рынке иллюстрации» (Эя Мордякова, иллюстратор)¹.

Опять — чего ни коснись, всё заканчивается экономикой.

Сокращается количество книжных магазинов — отмирает профессия продавца-консультанта. Для интереса прогулялся по сайтам с вакансиями. Где-то процентов восемьдесят — Москва. В столице эта профессия еще живет и как-то востребована.

Такая же ситуация с профессией литературного редактора. 85% книжных издательств находятся в Москве, 10% — в Петербурге и только 5% — по всей остальной России.

Впрочем, и профессия книгоиздателя — с сокращением числа издательств — тоже сокращается. И стареет. Почти всем известным мне издателям (директорам и/или главным редакторам) — за пятьдесят. Сорокалетних — единицы; тридцатилетние вообще не просматриваются.

Литература становится фабрикой самой себя. Сама себя производит, сама себя обслуживает, сама себя хоронит.

Да, цифровая революция. Но непосредственно она затронула только сферу производства и распространения. В остальном же... Способен ли интернет-поисковик заменить завлита? Или «спеллинг» в Ворде — художественного редактора? Текст, сгенерированный ботом на книгопродажном сайте, — критическую рецензию?

Литераторов все больше, границы литературы все уже. А вокруг — полоса отчуждения. За пределами которой стоит читатель; пока еще стоит.

Что-то через эту полосу к нему добирается. Книги, разумеется. Голоса трехчетырех критиков. Медийные волны, ежегодно поднимаемые тремя-четырьмя крупными премиями.

Что тоже неплохо.

Но для нормального существования литературы — не в аварийном режиме залатывания то одной, то другой дыры — явно недостаточно.

...В конце декабря прошлого года пришла новость: создана Ассоциация писателей и издателей, председателем стал Сергей Шаргунов. Что-то подобное ожидалось уже после Литературного собрания 2013 года. Целевая господдержка, вполне в нынешних условиях логичная. Поскольку других игроков, способных поддержать литературу, на сегодняшний день фактически не осталось — в том числе благодаря действиям государства. Скажем, получение грантовых средств из-за рубежа или от какого-нибудь полуоппозиционного мецената: что было в порядке вещей еще в начале нулевых — сегодня чревато последствиями. Что, кстати, повлияло на закрытие «Русского Букера»: чтобы не угодить в иноагенты, от поиска финансирования за пределами России руководству премии пришлось отказаться (а в России средств не нашлось).

Так что ожидалось, что, разогнав остальных «женихов», государство возьмет, наконец, затосковавшую Агафью Тихоновну под свою опеку. Не через выдачу, от случая к случаю на карманные расходы. А оформив соответствующим образом отношения.

Можно было, конечно, не изобретать велосипед — точнее, не лепить его по старым советским схемам (по аналогии с советским Союзом писателей). В ряде европейских стран господдержка осуществляется через специальный литературный фонд, финансируемый из госбюджета, но действующий как неправительственная организация. Но что создали — то создали: важно, что лед, наконец, тронулся. Хорошо, что в Ассоциацию вошли и книгоиздатели. Им тоже сейчас нужна поддержка не меньше чем пишущей братии.

¹ Профессия: книжный иллюстратор // Сайт «Иллюстраторская среда», 4 сентября 2020 г. (URL: <https://illustratorskayareda.ru/profi-o-profi/tpost/9gintkz34d-professiya-knizhnii-illyustrator>)

Состоялось учредительное собрание, был принят манифест.

«В библиотеках, школах, вузах и на других площадках писатели должны стать желанными гостями. Нужны мощные программы поддержки литературного процесса... Мы будем содействовать развитию национальных литератур народов России, переводу произведений национальных писателей на русский язык. Нуждаются в сохранении и спасении остатки писательского имущества и литературные издания, включая легендарные “толстые журналы”».

Последнее меня как толстожурнального автора особенно порадовало — пусть даже в странноватом соседстве с «остатками писательского имущества». Но от манифестов и признаний в любви вообще много требовать нельзя. К тому же было обещано, «другие документы сейчас как раз составляются и будут обнародованы позже».

Прошло почти девять месяцев¹.

Что-то делалось. Открылись бесплатные курсы для молодых авторов при Ассоциации. Хорошо. Хотя литературных курсов, платных и бесплатных, сейчас как раз достаточно: с количеством литераторов (вполне профессиональных) проблем нет. Что еще? На книжной ярмарке на Красной площади дискуссию провели. Конкурс логотипов объявили, в особняк на Поварской въехали...

В остальном — сколько ни гуглил и ни яндексил, ничего обнаружить не смог. Сайт Ассоциации (<https://aspirc.ru>) в замороженном состоянии, страница на ФБ обновляется где-то раз в две недели, что равносильно анабиозу.

И вообще — для того, чтобы все это сделать, совершенно не обязательно было создавать мегаассоциацию. Все это вполне осуществимо в рамках одного из союзписов.

Конечно, с чего-то нужно было начинать. Плюс эпидемиологическая ситуация, не слишком спешащая любому стартапу. Но произвести оценку потребностей — для этого вообще не обязательно организовывать большие сборища, где все друг на друга почихают и покашляют. Достаточно даже простой зоом-конференции. С теми же редакторами «легендарных “толстых журналов”». И/или с другими потенциальными бенефициарами. Или они уже прошли, просто общественность не в курсе?

Вопросов много. И первый, простите за меркантильность, — какое подо все это выделено финансирование. И выделено ли оно вообще? Не поторопилась ли Агафья Тихоновна (ее, впрочем, никто и не спрашивал)? А если выделено, то как будет тратиться? Просто распределяться между входящими в Ассоциацию союзами? Тогда — печально. Учитывая modus operandi писательских союзов, большая часть, скорее всего, уйдет на содержание и раздувание собственной бюрократии; до самой литературы дойдут крохи. Хотя и крохи сегодня не лишни.

Никто, разумеется, не ожидал, что все будет сделано в один хлопок.

Хорошо, подождем еще. Сил и попутного ветра всем, кто взялся за это непростое дело. Прежде всего Шаргунову, который, похоже, снова оказался в роли молодого вина, вливающего в старые мехи. В случае с «Юностью» ему это удалось: совершенно «убитый» журнал стал при нем вполне читабельным. Удастся ли ему это с Ассоциацией?

И хотелось бы, чтобы ждать пришлось не очень долго. С тринадцатого года (когда тоже ожидалось: вот-вот...) закрылись от безденежья несколько отличных журналов. Несколько замечательных премий. Несколько прекрасных литературных фестивалей. Но главное — то, с чего я начал: перестала нормально функционировать область между литературой и обществом.

Поэтому желательно побыстрее. И попрозрачнее, чтобы не только круг посвященных был в курсе того, что делается (или не делается). Пока еще есть что спасать и поддерживать. Пока современная литература еще жива.

¹ На начало сентября, когда пишу этот очерк.

Правила игры

Борис Минаев

Поверх всего

Есть вещи, которые понять, объяснить, логически выстроить — невозможно. В незапамятные 60-е Нодар Думбадзе написал текст под названием «Я, бабушка, Илико и Илларион». Этот текст сделал его знаменитым, он в каком-то смысле стал одним из символов Грузии (советского периода) — так же, как фильм «Мимино», ансамбль «Орэра», песни и романсы в исполнении Нани Брегвадзе, грузинское кино. Текст въелся в сознание, он стал соразмерен иозвучен всему, что представляло Грузию в советском мире — анекдотам про грузин, играм тбилисского «Динамо», страстному голосу футбольного комментатора Котэ Мацарадзе и так далее.

Казалось бы, все это в далеком прошлом.

Но вот прошла эпоха, и текст вернулся.

Я приехал в Екатеринбург по делам в конце небывало жаркого лета 2021 года. Несмотря на постоянные сообщения о смоге, лесных пожарах, страданиях людей от жары (которые полностью соответствуют действительности), — город практически ликовал. На набережных городского пруда, на Плотинке и вокруг — постоянный бал летних мод, весь город приходил радоваться солнцу, хорошей погоде, все кайфовали и развлекались как могли.

И тем не менее в тот вечер в Камерный театр (который от набережной в двух шагах) пришел народ, — весь зал был заполнен, и было понятно, что это не «своя» (то есть родственники и знакомые) и не случайная публика — люди, которые уже заранее были наслышаны о спектакле.

Это моноспектакль Георгия Иобадзе. Он начал его готовить еще в Екатеринбургском театральном училище — в качестве дипломной работы. Родившийся из студенческих этюдов, спектакль живет на разных сценах уже довольно долго. Сейчас он «прописан» на сцене московского театра на Юго-Западе, но в Екатеринбург Иобадзе привозит его регулярно, несколько раз в год. В 2018 «Я, бабушка, Илико и Илларион» получил приз в Перми на фестивале моноспектаклей. И зрители приходят, я уверен, потому, что слава бежит впереди этого не очень длинного представления, — они идут за определенными эмоциями, за какой-то не очень четко выражимой, неясно формулируемой и все же очень внятной мыслью, которая родилась в итоге у создателя.

Какая же она, эта эмоция?

В 1990 году мы вместе с соавтором, Виктором Кияницей, поехали в Цхинвали, писать о самоубийстве одного мальчика, старшеклассника. Материал потом вышел под названием «Смерть комсомольца». Помню, как наши собеседники в Цхинвали водили нас от здания к зданию и показывали следы пуль. Помню, какой испытал тогда ужас.

Потом были годы и годы, и в 2008 году я ехал в машине, включили радио, и я впервые услышал о том, что российская армия вошла на территорию Грузии, что идут бои. Это был еще больший ужас. Еще большая боль.

Никогда не забуду это чувство.

Потом война кончилась, пропаганда стихла, потом даже открылась Грузия, я поехал в Тбилиси...

Но все равно оставалось ощущение — что пробираешься через какие-то завалы — завалы боли, страданий, обид. Что идешь по какой-то очень узенькой тропиночке — шагнешь чуть в сторону и опять поскользнешься. Упадешь куда-то.

Вот в этом общежитии долго-долго жили беженцы из Абхазии, вот из-за этой горы вылетали российские военные самолеты (с этих кадров, кстати говоря, начинается экспозиция Музея оккупации в Тбилиси, куда я тоже не преминул зайти). Завалы, завалы, завалы — везде.

Так вот, спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» — несет в себе чувство освобождения от этого прошлого, он как бы входит в тебя «поверх всего», он начинает нашу «внутреннюю Грузию» как бы с чистого листа — вот с этого забытого ощущения восторга, яркости, чистоты восприятия: фильм «Мимино», игры тбилисского «Динамо», анекдоты и шутки, образ веселого и гордого народа. Образ яркой души, к которой поневоле тянемся.

Как он это делает, молодой, в общем, мальчик?

Не совсем понятно.

Иобадзе — танцор. Танцор, причем, великолепный. Но в спектакле нет как такового традиционного грузинского танца, нет «балета» — есть только выпуклые, отдельные, как бы взятые сквозь лупу, движения — из них поначалу и строится язык спектакля. Эти отчаянно-веселые, бесшабашно-страстные движения рук, ног, головы, пальцев, которые объясняют любое состояние, любую игру слов.

Эти загадочные, порой магические движения — завораживают, но они же возвращают нам вот это чувство узнавания прежней Грузии, прежнего грузинского характера — поверх всего. Поверх всех тяжелых воспоминаний.

В спектакль вошли, разумеется, лишь несколько новелл из текста Думбадзе — и все они показаны сквозь эту волшебную пластику, которая помогает рождаться эмоции — эмоции узнавания и сочувствия.

Наверное, любой актер в моноспектакле — немножко шаман, немножко маг, ведь ему приходится держать зал более часа в напряжении, без гипноза тут не обойтись. Но у Иобадзе это гипноз светлый, чистый.

Новелла о смешном притворщике, о неудачной охоте, на которой случайно застрелили собаку, о любовном письме, попавшем к бабушке, о смерти самой бабушки — вся эта неувядаемая классика Думбадзе — оказалось, что нет, это не о деревенском детстве и даже совсем не о детстве, хотя вроде бы оно явлено тут во всей простой монаде, — это о другом.

О том, что все, что нами потеряно, похоронено, все что завалено этими страшными событиями, десятилетиями исторических потрясений (видимо, неизбежных после стольких лет советской власти) — оно никуда не делось. Оно с нами. Это чистое и светлое счастье, как глоток легкого вина в жаркий день, обретения друга, дружественной души, дружественного жеста. И это не только о Грузии. Это вообще обо всем — ничто никуда не девается, не проходит. То, что настояще: свобода и любовь, память и гармония, — оно всегда будет с нами.

Поразительная вещь получилась из студенческой работы, из пластического этюда Георгия Иобадзе, из «музыкально-литературной композиции». По-настоящему глубокая.

И в поразительном месте я ее увидел, надо сказать.

Полное название Камерного театра Екатеринбурга — Камерный театр Объединенного музея писателей Урала. Располагается он в так называемом «Литературном квартале» — месте знакомом для города. Очень важном.

Когда-то почти весь центр Екатеринбурга состоял из старых купеческих особняков, заполненных коммуналками, тяжелым и скученным жильем, в лучшем случае — советскими кабинетами. Их безжалостно сносили. Но еще в середине 70-х годов на одной из таких улиц, ближе к набережной городского пруда, было решено устроить некий «музейный остров», бережно сохранив деревянный резной модерн, ажурное убранство старых купеческих особняков, дух прежней жизни. Для того времени это было смелое, почти революционное решение. В советскую метафизику оно совсем не укладывалось. Но архитекторам и поддержавшим их городским руководителям (среди которых можно назвать и Бориса Ельцина, и Лидию Худякову, которая в то время занималась культурой в обкоме партии) — помогли уральские писатели. Их легенда, их авторитет, их почетное место в учебниках и хрестоматиях. Это были, прежде всего, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Павел Бажов, Фёдор Решетников. Уроженцы здешних мест. Любимцы советских библиотек. Вокруг их имен и родилась эта идея — восстановить, реставрировать кусочек старого Екатеринбурга, вдохнуть в него новый воздух.

Что получилось в итоге?

Если говорить формально, Объединенный музей — это несколько мемориальных домов-музеев, это музей писателей XX века с отдельной экспозицией, посвященной уральской фантастике, это литературный музей детства.

...Я очень люблю сюда заходить. Во-первых, из-за названия: Литературный квартал — ну где еще есть такое чудо? Не дом, не музей, а целая улица, целый квартал, посвященный литературе. Отовсюду глядят писательские портреты, цитаты, и, конечно, невозможно не заметить самый необычный памятник Пушкину, изо всех, что я видел, — Пушкин в ночной сорочке, поднявшийся среди ночи, чтобы записать строку или увидеть в темноте вдохновившую его метафору. Удивительный. Замечательны и те идеи, которые постоянно меняют и ломают привычную вроде бы уже экспозицию музея уральских писателей XX века, — помнится, была тут прекрасная выставка, посвященная уральскому самиздату. Пишащие машинки, копирка, рукописные тетради, порой крошечные, самиздат политический и литературный, манифесты и стихи, все это было необычайно интересно — такого количества уникальных артефактов, объединенных одним замыслом, я давно не видел. Так же мне понравилась и последняя идея писательского музея — «литература в эвакуации» — ведь во время войны сюда приехали не только заводы, учреждения, но и люди. Вообще, бережность в отношении всех событий, всех людей литературного Урала тут удивительная — здесь не забыли, каким прекрасным детским писателем была мама Эрнста Неизвестного Белла Дижур, здесь не потеряны даже мельчайшие свидетельства о коротком пребывании в Екатеринбурге-Свердловске Высоцкого и Пастернака, Вознесенского и Маяковского.

И каждое из таких свидетельств — бережно проиллюстрировано и ярко подано.

Экспозиция музейная, одним словом, не застывшая, не мемориальная только, она текучая, как сама жизнь.

Но возникает, конечно, вопрос: а насколько позволительно вообще говорить о

феномене уральской литературы, о том, что на Урале, и в частности в Екатеринбурге (хотя и не только здесь, но и, скажем, в Перми или Челябинске), есть какая-то особая литературная школа или «ветвь»?

В Ельцин-центре, например, я года два назад затеял цикл литературных встреч с разными писателями, не только уральскими, но бывали у меня, конечно, и те, кто здесь вырос, начинал, и кто до сих пор живет и пишет, в гостях нашего цикла «Два города» уже побывали Алексей Иванов и Евгений Ройзман (прекрасный, надо сказать, новеллист), Анна Матвеева и Ольга Славникова, Алексей Сальников и молодой Павел Селуков, вошедший недавно в короткий список «Большой книги». Не успел, к сожалению, пригласить ушедшего от нас Игоря Сахновского. Собираюсь устроить большой вечер уральских поэтов, посвященный Борису Рыжему. Так что судите сами — есть она или нет, эта уральская литература?

Литература, берущая свое начало от тех самых классиков — Мамина-Сибиряка и Бажова и развившаяся за последние годы в явление огромное.

И все же это, может быть, единственный литературный музей в стране, который не только занял в городе целый квартал, но и создал свой театр. Да, в самом начале Литературного квартала находится теперь Камерный театр. Его задача — воплощать на сцене литературу, делая ее зримой и яркой. Первый спектакль играли прямо в саду одного из особняков на улице Толмачёва, потом взяли целое помещение и долго его реконструировали. И вот теперь театр есть, — здесь поставлены и «Повести Белкина», и целый ряд спектаклей по Чехову (среди постановщиков, например, Николай Коляда и Дмитрий Зимин, известные в Екатеринбурге режиссеры), но, наверное, дело не только в этом. Как и музей, — театр живой, текущий, пластичный, и завещанные нам в «Чайке» Треплёвым «новые формы» здесь не нужно искать — они приходят сами. Это и фестиваль спектаклей для подростков и о подростках «Свой», и иммерсивные спектакли в музеиных пространствах, и пушкинский фестиваль, собирающий вокруг удивленного Пушкина в ночной сорочке десятки тысяч людей.

Екатеринбург — город настолько литературный, что даже отдельное явление, как театр, он переделал в литературу, в звучащее слово, в словесный образ.

Summary

Artur DOLYA. The First. The Second.

This novel is an attempt to read the bygone romantic spring of life through the routine melodrama of screenwriting searches in the not very demanding cinema. What the restless protagonist used to be? What has he become? The vivid details, exciting events, charming images — all in vain. Why does any life finally turn up depreciated? Creative helplessness as one's "domestic" Apocalypse. And does there exist another escape, apart from the global wreck?

Poetry

Every human being and every people rests in one's own stack and is pinned on one's own needle of memory. That's what the poems of Alexander KABANOV from Kiev are about. The poet is highly sensitive to the spirit and air of the local time.

For Grigorij MARK the memory is an imaginary transporter which is carrying by a gallery of unidentified lives and their cobwebs. Dmitrij ARTIS is recalling "the time of youthful hurricanes". Georgij KUBATYAN — the places dear to his heart: Armenian Highland, Vakhrushy.

Anatolij TZIRULNIKOV. From the Secret Archives of Russian School

"Within two centuries slightly less than half a hundred ministers have alternated in the office of the Russian education. It's not important how many of them belong to the old and how many — to the new times since it's one history, poorly studied must say", — so academician Tzirulnikov begins his study and tries to picture some generalized portrait which turns out to be highly interesting and thought-provoking.

Evgenij ABDULLAEV. The Last Dream of Agafya Tikhonovna

In his essay the author states that within the last decade "being broke some excellent magazines, some fine prizes, some splendid literary festivals have been closed. But what is worst of all — the space between literature and society stopped normally function": the number of bookshops, publishers and literary editors is being reduced. The conclusion is tough: "Literature is turning into a self-mill". Where is the exit and can we still have a hope?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанацодов.ком>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездниковского
переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Читайте:

Сюзанна Кулешова. Роман «Игры индиго»:

«Киты! Это точно киты. И дельфины! А кто еще поет в океане? Костя раскачивается сильнее, волны все мощнее, киты все ближе. В зоопарке нет китов, они в океане. Но папа обещал, что когда-нибудь они поедут туда, где их можно увидеть. А Костя сейчас — видит. Костя может увидеть то, что очень хочет. Кроме мамы, кроме бабушки, кроме сестры, кроме реального мира. Но кто сказал, какой мир реальный? Быть может, нынешний Костин, где нет боли, а есть киты, — как раз настоящий? Боль все-таки есть...»

Татьяна Млынчик. Рассказ «Ксения Петербургская позвонит»:

«Вечером накануне штурма вершины Эльбруса, в альпинистской обвязке и шапке-петушке, я кралась в знаменитый нависший над пропастью сортир: делать тест на беременность. Убедиться, что рисковать по пути на высочайшую гору страны буду исключительно собой. К деревянному домику с окошком-сердечком горные туристы приходили фотографироваться. Самый романтический туалет на Земле! Я рассуждала: если залетела, поход псу под хвост. Приехать на Эльбрус, тренироваться, вести тщеславный репортаж в Инстаграме, а на вершину так и не забраться! Потом представила себя тут же, через пятнадцать лет, рядом с голубоглазым подростком...»

